

Эфраим Севела
Попугай, говорящий на идиш



Гарри лег поздно. До двух часов он был с Барбарой в ресторане. Потом, пока вернулись домой, пока легли, еще полчаса, не меньше, ушло на любовные утехы, и когда, наконец, чтоб лучше выспаться, он ушел из спальни от горячей и ненасытной рыжей Барбары и постелил в кабинете, вот тогда зазвонил телефон. Вырвав его из сладких глубин первого сна. В трубке послышался голос мамы. Голос он узнал сразу. Но поначалу никак не мог понять, почему она всхлипывает. Она плакала, стонала и сморкалась у себя там в кондоминиуме в Форт-Лодердейл, Флорида, и Гарри должен был это выслушивать, не совсем еще очухавшись ото сна, на другом конце Америки, в Кливленде.

Наконец он разобрал в маминых столах, что умерла Фира.

— Какая Фира?

— Не помнишь Фиру? Твоя тетя! Моя старшая сестра Фира!

Да, действительно, у матери была такая сестра. Гарри ее в последний раз видел, когда был еще маленьким мальчиком, и не помнил даже, как она выглядит. Кажется, она единственная из маминых сестер не имела детей, и это еще больше отдалило ее от младшего поколения: не было связи через кузенов. Она пережила мужа и долго, на удивление всей родне, почти до девяноста лет, тянула одна в маленьком городишке, в Нью-Джерси, в том самом доме, который купил еще дед, переселившись в прошлом столетии из Польши в Америку.

— Меня эта новость сразила, — всхлипывала мама.

— Конечно, конечно, — сдерживая зевоту, согласился Гарри. — Но что поделаешь?.. Естественный ход событий... Дай Бог нам дотянуть до ее лет.

— Я уже не дотяну... — сказала мама. — Она была здоровее всех. А я трех детей вырастила, мужа похоронила. И даже теперь мне нет покоя.

Она снова зарыдала.

Отчего мама не имеет покоя, даже теперь, на склоне лет, Гарри знал. Мать провдовствовала недолго и после смерти отца ликвидировала его дело, переехала во Флориду и там, вместо того чтобы спокойно и безбедно доживать у теплого океана, ни с кем не посоветовавшись, не известив заранее детей, вышла замуж. За кубинца. Эмигранта с Кубы. Некого Фернандо Гомеса, белозубого усатого брюнета, на четверть века ее моложе. Она вложила все, что имела, в ресторан, кубинец стал заправлять всеми делами и по ночам доводил до изнеможения старую женщину, вдруг, в ее-то годы, открывшую, что такое подлинный секс.

Теперь она жалуется, что не дотянет до лет своей старшей сестры Фиры.

— Конечно, миссис Гомес, — подумал, но не сказал Гарри, — ваш образ жизни не способствует долголетию.

Мать, в довершение ко всем своим проделкам, взяла фамилию нового мужа и стала вместо миссис Шварц миссис Гомес. Неплохой подарочек покойнику, с кем прожила бок о бок сорок лет. Но этого покойник не знал. Гарри его еще при жизни обидел, и отец ему так этого и не простил. Вступив в бизнес, открыв свое дело, он сменил уж совсем откровенно еврейскую фамилию Шварц на англосаксонскую Блэк и стал Гарри Блэком — президентом большой инвестиционной компании, с солидными связями в Канаде, Бразилии и Европе.

Когда отец попытался его упрекнуть в том, что стыдиться своего происхождения не большая добродетель, он нашел неотразимый аргумент:

— А мое имя Гарри? Я его, что ли, выбирал? Меня называли по покойному деду. Но не Гершелем, а Гарри. И имя это выбрал ты, отец. Так что при нееврейском имени не обязательна и еврейская фамилия.

Мать и тогда была человеком более современным, чем отец.

— Что Шварц, что Блэк, — рассмеялась она, — от этого наша фамилия светлее не станет.

Она имела в виду, что Блэк по-английски то же самое, что Шварц по-немецки и на идише, и то и другое означает — черный.

Мама, миссис Гомес, молодящаяся старушка с кра-шенными в темно-красный цвет и, невзирая на это, по-прежнему прозрачными, как пух, волосами, хлюпала носом на другом конце провода.

— Когда похороны? — спросил, чтобы не молчать, Гарри.

— Вот об этом я тебя хотела попросить, сынок. Я не могу вылететь. У меня, как на грех, разыгрался ишиас, и я уже три дня не могу разогнуться. Я умру от огорчения и стыда, если кто-нибудь от нас не поедет на похороны.

— Кто? — спросил Гарри, окончательно просыпаясь, и почувствовал неприятный вяжущий привкус во рту. от выпитой с вечера мешанины из разных вин и виски.

Только на тебя надежда, — снова заплакала мать, — твой брат, ты знаешь, в отъезде, а Сюзан никак не сможет. Я ей звонила. С кем она детей оставит? Ради меня... умоляю... там будут все... и от нас тоже должен быть кто-то... бедная Фира... она тебя так любила... ты был крошкой... и мы на два месяца к ней тебя завезли... когда с твоим отцом ездили в Европу. Гарри... Это моя последняя просьба... Я ведь тоже скоро уйду вслед за Фирой.

Дальше пошли такие густые рыдания, что Гарри ничего не оставалось, как согласиться.

Настроение было испорчено. Лететь черт знает куда, терять дорогое время, отменить столько деловых встреч, и лишь для того, чтобы потолкаться среди малознакомых родственников, собравшихся со всей Америки в этот жалкий городишко, откуда три поколения назад пошел их род на американской земле, притворно вздыхать и делать печальное лицо, говорить пустые, но приличествующие случаю слова и выслушивать комплименты и неискренние восторги по поводу его, Гарри Блэка, не сглазить бы, блистательной карьеры.

Он плохо проспал остаток ночи и утром заказал билеты на дневной рейс в Нью-Йорк. Не один билет, а два. Рыжая Барбара, его любовница с роскошным ирландским телом, белым и усеянным веснушками, не захотела оставаться дома одна. Она уже второй месяц жила у Гарри. Он привез ее из Лос-Анджелеса, где она дебютировала в фильме, финансируемом его, Гарри, компанией. Дебютировала не она, а ее тело. В фильме Барбара по большей части снималась обнаженной и в сексуальных сценах была настолько пластична и вы— разительна, что срочно *заказали* еще несколько сценариев подобного рода, уже специально для нее, чтоб продлить коммерческий успех, достигнутый первым фильмом. До начала съемок Барбара перебралась к Гарри

в Кливленд, и с тех пор он почти каждую ночь пил и не высыпался.

Появиться среди своей еврейской родни с рыжей Барбарой, которую многие, возможно, видели в фильме и поэтому знают, как она выглядит без одежды, было не совсем удобно и, конечно, не приличествовало печальному поводу, сведшему всю семью вместе. Потом, кое-кто знал Кристину, жену Гарри, с которой он уже три года в разводе, помнили, несомненно, его детей, живущих теперь в Калифорнии с отчимом. Это все вызовет недоуменные взгляды, незаданные вопросы, еврейское пожимание плечами и переглядывания друг с другом за его спиной.

Я никогда не бывала на еврейских похоронах, — сказала Барбара за завтраком, разметав по голым, в веснушках, плечам свою рыжую, с медным отливом, гриву. — Это должно быть забавно.

Гарри не смог ее убедить, что лучше ей остаться в Кливленде и дожидаться его возвращения. Барбара настояла. И единственное, в чем она ему уступила, — не наложила, как обычно, много краски на лицо и ресницы и поэтому в самолете выглядела мятой и словно неумытой.

Городок, в котором умерла тетя Фира, казалось, ни в чем не изменился с тех пор, как Гарри мальчиком провел здесь лето. Он даже узнал дом, немного старомодный, из красного кирпича и без привычного гаража. Покойная автомобилем не пользовалась. Только деревья перед домом — толстые буки — разрослись неимоверно, и нижние ветви тяжело лежали на крыше.

Когда-то эта улица, да и все прилегающие, были заселены исключительно евреями. Теперь население сменилось полностью: в окнах и на тротуарах мелькали одни черные лица. Тетя Фира была последней еврейкой и последним белым человеком во всей округе.

Евреи, окрепнув и разбогатев, переселились в лучшие районы, а в их обветшалые дома въезжали другие бедняки — негры и пуэрториканцы. Даже синагога, в двух домах от тети Фиры, тоже была брошена, и сейчас там пели псалмы негры-баптисты, а на кирпичных стенах по-прежнему виднелись шестиконечные иудейские звезды.

Поэтому вся религиозная часть похорон проводилась в нескольких милях отсюда, в роскошном — сплошной парк в еврейском районе с новой современной синагогой из стекла и бетона.

Тетя Фира, сморщенная, маленькая, как ребенок, лежала в отлично сделанном, недешевом гробу. Молодой упитанный раввин говорил много похвальных слов об ее благочестивой жизни и ставил покойницу в пример сидевшим на скамьях похоронного дома, хорошо одетым, холеным евреям и еврейкам, среди которых отлично вписалась съехавшаяся сюда родня Гарри Блэка. Даже Барбара не совсем выделялась. На скамьях попадались похожие англосаксонские лица блондинок. По всей видимости, жены евреев, при замужестве перешедшие в иудаизм.

В комнатах тети Фиры было запустение, какое бывает в жилищах старых, потерявших подвижность людей. И мебель и картины на стенах были старыми, ветхими, их поставил здесь еще дед, приехав из Польши, и никто их с тех пор не сдвигал с места.

На комод с облупленными боками в высокой клетке из позеленевших медных прутьев сидел, нахохлившись, на перекладине старый зеленый попугай с красным

пятном над клювом, касаясь длинным хвостом кучки помета — клетку давно не убрали. Глаза попугая были затянуты розовой кожицей, и казалось, он спит среди шума в переполненном гостями доме. Лишь изредка пленка сдвигалась с круглых глаз, клюв приоткрывался и попугай издавал вздох, какой может издать только старый еврей, когда он чем-то опечален:

— Ай-яй-яй-яй-яй.

И все в комнате вздрагивали и кое-кто даже улыбался.

Старушонка, из тех, что навещала покойницу, объяснила приехавшим, что этот попугай был долгие годы единственным собеседником тети Фиры и перенял все ее манеры и привычки. Тетя Фира под старость почти забыла английский и рассуждала сама с собой на языке предков — на идише. Попугай вторил ей. Такая умная птица! Он даже научился картавить, точь-в-точь как евреи в польских местечках.

— Знаете, — сказала старушка, моргая розовыми, как у попугая, без ресниц, веками, — во всем нашем городе они только двое разговаривали на идише. Остальные забыли. Даже я еле помню.

Она повернула сморщенное личико к попугаю и сказала пару непонятных слов. На идише, догадались все в комнате и даже привстали с мест, ожидая, что ответит попугай.

Попугай совсем по-еврейски, с мировой скорбью в круглых глазах, посмотрел на них и, ничего не ответив, сдвинул, как занавески, розовые пленки на глазах.

Гарри листал старый альбом в малиновом бархатном переплете, с залысынами в местах, где их касались пальцы. Рыжая Барбара через его плечо разглядывала фотографии, пожелтевшие, в трещинах. Здесь был и дед с бородой, в черной фуражке-картузе, какие носили в ту пору в Российской империи, и бабка в черном платке, по-крестьянски повязанном под подбородком. И мать Гарри, нынешняя миссис Гомес, — маленькая пухлая девочка со светлыми локонами и в юбке колоколом, в ту пору не подозревавшая, что есть такая болезнь по названию ишиас.

Все свое имущество покойная завещала еврейской общине, а так как в основном это был хлам, то порешили пригласить сюда эмигрантов из СССР — пусть выберут, что им приглянется. Родственники согласились взять лишь по какому-нибудь незначительному предмету на память. Как сувенир. Гарри остановил свой выбор на медном подсвечнике-меноре, куда вставляют на Хануку восемь свечей и каждый день зажигают по одной. Менора была прошлого столетия, из Восточной Европы. Из багажа деда.

Все брали по одной вещи. И Барбаре тоже захотелось что-нибудь взять.

— Можно попугая? — попросила она Гарри, неуместно блеснув порочными глазами.

Он усмехнулся, пожал плечами:

— Мало тебе хлопот? Возьми.

И стал думать об оставленных дома делах, о предстоящих переговорах с инвесторами из Торонто, приезд которых он из-за похорон передвинул на один день.

Как попугай перенес перелет из Нью-Йорка в Кливленд, они не знали: он ехал в

своей клетке в багажном отделении самолета.

В доме Гарри Блэка клетку с попугаем поставили в гостиной между тумбой со стереофоническим проигрывателем и высоким торшером: Барбара вычистила клетку, налила свежей воды, протерла каждый медный пруттик, и клетка засверкала, как пожарный колокол.

А менору с восемью пустыми чашечками для свечей поместили в противоположном углу, где Гарри собрал коллекцию сувениров, привезенных из дальних деловых поездок. На стене щерились черные ритуальные маски из Африки. На полу сидел, расставив круглые колени, упитанный бронзовый Будда, купленный в Бангкоке. Над ним печально смотрел с креста деревянный распятый Христос с длинным удивленным лицом, которого Гарри раздобыл в Польше. Русская темная икона мерцала тусклой позолотой оклада. И маленькая менора совсем потерялась в этой коллекции.

Гостиная была большая, просторная, полная света, и воздух был чистый и прохладный, процеженный через кондиционер. А старый попугай задыхался. Ему доставало захлавленной тесноты, привычных запахов лекарств, играющих в солнечном луче пылинок, веток бука, хлопающих по мутному, давно невымытому окну.

Вечером пришли гости. Канадский партнер Гарри из Торонто Сэм Винстон, такой же высокий и уже начинающий полнеть еврей, как и Гарри.

«Какой он Винстон? — почему-то ухмыльнулся в душе Гарри. — Тоже сменил фамилию, чтоб выглядеть ВАСПом. Небось, отца зовут Кац или Рабинович».

С Сэмом приехала его секретарша Жаннет — канадская француженка. Не такая вульгарная, как Барбара, но зато и с меньшим зарядом секса.

И еще одна пара. Кливлендский адвокат Брюс Мортон и его подружка — коллега по конторе, незамужняя Майра Кипнис. Оба евреи.

Сначала они обедали в загородном клубе. Вечером ввалились к Гарри, уже изрядно отяжелев от еды и питья. И принялись танцевать, включив на всю мощь стереопроектор.

Попугай вздрагивал в своей клетке, ерошил перья, втягивал голову в плечи, высунув лишь желтый, как слоновая кость, кривой клюв.

Барбара, пьяная, заплетающимся языком рассказала гостям о попугае. С ним попробовали разговаривать. Он не отвечал. Жаннет задала вопрос по-французски.

— Идиоты! — вспомнила Барбара. — Он знает лишь один язык... еврейский.

— Иврит? — спросил Сэм.

— Нет, идиш, — ответил Гарри. — Моя покойная тетя пользовалась только этим языком, объясняясь с попугаем. После смерти тети попугай остался последним могиканином, понимавшим идиш.

Все рассмеялись удачной шутке хозяина дома. Темноволосая Майра вздохнула:

— Я тоже немножко понимаю. Честное слово. Мой дедушка с бабушкой, когда хотели что-нибудь утаить от моих ушей, пользовались этим языком.

— Спроси его на идише, — загорелась Барбара.

— Не умею. Спрашивать не умею. Лишь немножко понимаю.

Они отстали от попугая.

К ночи гости перепились. Женщины утомились от танцев, перегрелись и стали обнажаться, сбрасывая понемногу с себя всю одежду. Барбара сняла даже трусики и раскинулась на ковре, широко расставив ноги, подтверждая, что все в ней натурально, и роскошные волосы — свои, некрашенные; на ее лобке пониже выпуклого живота кудрявился рыженький пучок.

Возле Барбары клевал носом Сэм Винстон. Без пиджака и без рубашки, но в брюках. В одной руке он держал бокал с кусочками тающего льда, а ладонью другой мял плоско опавшие груди Барбары.

Гарри на другом конце целовал секретаршу Сэма — Жаннет, раздевшуюся не совсем до конца. Брюс и Майра жались на диване. Голова Брюса с закрытыми глазами покоилась на ее коленях, а голова Майры была запрокинута на спинку дивана и глаза устремлены в потолок.

Стереофонический грохот, оборвавшись, умолк —

кончилась пластинка, и механический рычаг, потрескивая, переворачивал ее другой стороной. И пока было непривычно тихо, вдруг послышался скрипучий горестный вздох:

— Ай-яй-яй-яй-яй...

Как будто старый как мир еврей хочет пожаловаться на свою судьбу.

И Барбара, и Сэм, и Гарри, и Жаннет, и Брюс, и Майра повернулись к попугаю.

Старая зеленая птица потопталась серыми скрюченными лапами на перекладине и изрекла четко:

— Вей из мир! Вос хот геворн мит ди идн! (Горе мне! Что случилось с евреями!).

— Что? Что он такое говорит? — вскочила на четвереньки голая Барбара.

— Он говорит на идише, — сонно сказала с дивана Майра. — И, если я его поняла правильно, он сказал мало лестного о нас.

НАШ ПРЕЗИДЕНТ

Я приехал в гости в Мевасерет Цион-маленький поселок для новых репатриантов в Иудейских горах под Иерусалимом. Мой друг встретил меня на автобусной остановке в прорубленном в скалах ущелье и повел по асфальтовому серпантину, чтобы по мостику перейти на другую сторону шоссе.

На автостраде машины кишели как муравьи, а на перекинутом высоко мостике и на самой дороге к поселку было пустынно в этот час. Потом вдаль показалась автомашина, большая и дорогая. Кажется, «кадиллак». А впереди неслись на сверкающих никелем мотоциклах два дюжих парня в черных кожаных куртках и галифе и в белых пластиковых шлемах.

Это

— президент Израиля, — почтительно сообщил мой друг. — Тут, в горах, его дача, и он каждое утро в сопровождении охраны едет в Иерусалим в свою резиденцию.

Мы сошли с дороги и остановились, чтоб пропустить кортеж, а заодно поближе рассмотреть президента еврейского государства, которого я знал лишь по газетным портретам, и он мне казался очень похожим на старенького детского доктора, как их рисуют в сказках для детей.

При виде сверкающих мотоциклов сопровождения и черного лака шикарного автомобиля я невольно подтянулся, как бывший офицер, вытянул руки по швам и от волнения и торжественности почему-то захотел затянуть негромко, хотя бы шепотом, государственный гимн.

«Кадиллак» с мотоциклами впереди миновал мостик, а мы ждали его на повороте, круто уводившем асфальтовую ленту вниз, к автостраде. Мотоциклисты лихо заложили глубокий вираж, наклонив машины под опасным углом. И один мотоцикл, потеряв равновесие, шлепнулся на асфальт чуть не под колеса «кадиллака», чудом успевшего затормозить. Белый пластмассовый шлем охранника покатился по насыпи. Сам охранник лежал на земле и морщился, потирая рукой в черной перчатке ушибленное плечо.

В черном «кадиллаке» открылась дверца, и на асфальт неуверенно ступил седенький еврейский дедушка в черной старомодной шляпе и таком же пальто, засеменил к упавшему мотоциклу, кряхтя опустил на одно колено и прижал к себе голову своего незадачливого стража. Дюжий парень, затянутый в черную кожу, стал всхлипывать на его плече, а он гладил его кудрявую голову, совсем как своему внуку. Выглядело это все нелепо и комично, как в еврейском анекдоте, но поверьте мне: вместо того чтобы рассмеяться, я чуть не заревел в голос. Потому что такое можно увидеть только в еврейском государстве, непохожем на все остальные. И до своих последних дней я никогда не забуду этой картины: плачущий солдат, ушибший плечо, и глава государства, утешающий его, как дедушка.

СОЛДАТСКИЕ ШТАНЫ

Солдатские штаны. Цвета хаки. Или оливкового цвета. В зависимости от рода войск. С обилием карманов сзади и спереди. Заправленные в шерстяные носки и в высокие армейские ботинки, которые весят полпуда, особенно в такую жару, какая бывает на Ближнем Востоке.

Казалось бы, что поэтического и возвышенного может быть в солдатских штанах? Простите, но это для вас. А что касается меня... то, когда я вижу эти самые солдатские штаны цвета хаки или оливкового цвета, только что выстиранные и вывернутые наизнанку со швами наружу и множеством болтающихся карманов, вывешенные для просушки на балконе иерусалимского дома, мое сердце начинает биться учащенно.

Потому что это уже не штаны, а флаг, сообщающий всем окружающим балконам, что обладатель этих штанов, хозяин дома, благополучно вернулся из армии, жена, плача от счастья, выстирала их и гордо вывесила штанинами вверх и в разные стороны для всеобщего обозрения, как знак семейного торжества.

Когда кончилась война Судного дня и первые партии солдат хлынули домой с Голанских высот и Суэцкого канала, бородатые, просоленные и грязные, на многих балконах Иерусалима затрепетали на сухом ветерке солдатские штаны цвета хаки и оливкового цвета, с которых жены и матери, мешая слезы с мыльной пеной, отстирали песок пустынь и копоть взрывчатки.

Свесившись с бельевых веревок, солдатские штаны словно кричали всей улице со своих балконов:

— В нашем доме полный порядок! Радуйтесь, люди добрые, вместе с нами!

А на тех балконах, где не было видно солдатских штанов и сиротливо болтались пустые бельевые веревки, было траурно неуютно и одиноко. В те дома или еще не вернулись, или уже никогда не вернутся мужчины.

Я помню старушку, сгорбленную, опершуюся на посох, сощурившую слезящиеся глаза на балконы с солдатскими штанами. Она пальцем считала каждую пару и бормотала, как молитву:

— Слава Богу, слава Богу... Еще раз слава Богу. Господи наш, никого не обойди, вывесь на каждом балконе солдатские штаны.

Глядя на эту бабушку, я, к тому времени тоже демобилизованный и вывесивший свои выстиранные штаны на нашем балконе, вспомнил такую же старушку, что повстречалась нам в первый день войны, когда мы, резервисты, только что облачившиеся в военную форму, еще не опомнившиеся от неожиданности, мчались в реквизированных для нужд армии пассажирских автобусах из Иерусалима на север, к Голанским высотам.

В нашем автобусе было человек пятьдесят солдат. Новенькое обмундирование еще мешковато и неудобно сидело на нас, каски сползали на глаза на всех неровностях дороги. Мы были взвинчены, день был сухой и жаркий, в горле пересохло, язык стал шершавым, как наждак. Мы мучительно хотели пить.

Шофер автобуса не меньше остальных страдал от жажды, и хоть был строжайший приказ не останавливаясь мчаться к Голанам на помощь нашим отступающим частям, как только мы въехали в какой-то поселок, подрулил к маленькому магазину с бутылками кока-колы на вывеске и со скрежетом затормозил, распахнув и передние и задние двери.

Пятьдесят солдат ворвались в эту крохотную лавочку. Вернее, там поместилось не больше десяти, остальные толпились снаружи, и им из рук в руки передавали поверх касок запотевшие в холодильнике бутылки.

Хозяйка магазина, женщина лет под семьдесят, очень похожая на Голду Меир, суежилась у прилавка. В считанные минуты мы опустошили весь магазин. Выпили все, что было возможно пить. Всю кока-колу, содовую воду, апельсиновый и грейпфрутовый соки. Тем, кому не хватило напитков, пришлось довольствоваться водой из крана.

Старушка отдала нам весь свой товар, все запасы. Магазин был крохотный, не из богатых, и все, что мы выпили, было единственным достоянием старенькой хозяйки.

Освежившись и ожив, мы полезли в карманы за деньгами.

— Сколько с нас, мамаша?

Солдаты весело галдели, суя ей деньги. Задние с улицы передавали смятые фунтовые бумажки, пригоршни мелочи.

Хозяйка магазина подняла руку, как бы отстраняя деньги, и шум понемногу улегся.

— Не надо платить, — тихо сказала старушка. — Я вас очень прошу. Заплатите потом... когда поедете назад... Только, будьте добры, вернитесь живыми... Ладно? Тогда и заплатите мне.

Каюсь, я не уплатил за напитки и после войны. Никак не мог вспомнить, какой дорогой мы ехали на фронт, в каком поселке остановились попить.

Но когда я увидел старушку с посохом, считавшую скрюченным пальцем солдатские штаны, вывешенные после стирки на иерусалимских балконах, я вспомнил и ту, что напоила нас в первый день войны, отдав все, что имела. И хоть у меня давно нет своей матери, как никогда прежде, я почувствовал, что еще не осиротел.

ВОЛЧИЦА

Солнце стояло в зените, южное, знойное, и лишь раскрытые по всему пляжу многоцветные зонты давали спасительные круги тени в этом пекле. Курортники уползали под защиту зонтов, оставив на смятом желтом песке обрывки газет, семечную шелуху и арбузные корки.

Азовское море тускло сверкало стеклянной глазурью, и скользивший с задранного носа теплохода на подводных крыльях, казалось, полз белой мухой по вязкому киселю.

Утопая коричневыми босыми ногами в раскаленном песке, брела по пляжу старуха, не из курортниц, а из местных жителей. В кофте и юбке, старых и рваных, с непокрытой головой, подставив немилосердному солнцу космы невымытых волос, она являла собой резкий, нестерпимый контраст холеным телам в кокетливых купальниках и бикини на ковровых подстилках в многоцветной тени зонтов. У старухи было сморщенное, продубленное солнцем лицо и запавший беззубый рот. Она бесчувственно ставила в раскаленный песок ноги, просушенные до костей, с шелушащейся, как у змеи, чешуйчатой кожей и глубокими черными трещинами на пятках.

Старуха не была нищенкой и не просила милостыни. Она не останавливалась у каждого зонтика и не кланчила гривенник.

Она брела по песку, изредка вскидывая ладонь к глазам и прикрываясь ею от слепящего солнца, вглядывалась в людей под зонтиками, словно искала кого-то.

И останавливалась с глупой ухмылкой, если находила среди голых тел человека с еврейской физиономией. Особенно широко улыбалась она, обнажая пустые десны с единственным и желтым, как у лошади, зубом, когда видела еврейскую семейку с непременно толстой, распирающей купальник мамашей и упитанными, раскормленными детьми.

Она приближалась к ним, как ведьма из детской сказки, и ее сумасшедшая улыбка и нездоровый блеск в глазах увеличивали это сходство. Не доходя до тени из-под

зонти одного шага, она опускалась на колени в песок на самом солнцепеке и начинала причитать, подвывая:

— Деточки мои родненькие! Еврейские мои глазоньки! Точь-в-точь как у моих доченок... Как у Маруси... Оксаночки... и у Ривочки... Младшую звали так... по покойной матери моего мужа... Царство ему небесное... и деточкам моим.

Дальше из ее тихих, как бы заученных причитаний выяснялось, что она из этих мест и до второй мировой войны была учительницей в сельской школе. Она — украинка, а замуж вышла за еврея.

— Хороший человек был, ничего не скажешь. Ей-Богу, — словно оправдывалась она. — Ничего худого не могу припомнить. Не пил, руку никогда на меня не поднимет. А что заработает, то в дом тащит... для меня и для доченок.

Жили они так, пока не началась война и не пришли немцы. Зимой, когда мелководное Азовское море покрылось льдом, полицаи забрали мужа и всех троих девочек. То, что мать у девочек украинка и в них течет лишь половина еврейской крови, не приняли во внимание. Всех евреев полагалось по приказу убить, и никакого исключения не делалось.

Погнали их по льду, подальше от берега, как раз напротив этого пляжа. Тогда здесь пляжа не было, а только дикий берег. Сделали проруби во льду и стали сталкивать туда евреев, топить их.

— И моих деточек... Оксаночку... Марусечку... и Ривочку... как щенят утопили. Я потом, как ушли полицаи, бегала туда, а проруби уже льдом затянуло. Думала, весной растает, выкинет их на берег, можно будет в могилке схоронить... Не выкинуло... Так и лежат в море... как рыбки... Кто заплывает далеко, может, и увидит их.

Она оборачивалась к морю, заслонялась от солнца рукой и щурилась на расплавленное зеркало, тряся головой и что-то пришептывая.

Евреи, смущаясь, слушали ее причитания. Словно они чем-то были повинны в горе этой свихнувшейся украинской старухи. И совали ей деньги. Не мелочь. А бумажные рубль или даже два.

Старуха брала эту дань не благодаря, а как положенную ей плату и поднималась с колен со вздохом: Трудное дело быть евреем. Врагу своему не пожелаю.

И шла дальше босыми ногами по раскаленному песку, выискивая под зонтиками еврейские лица. Найдя, она опускалась на колени и заводила все ту же песню, как патефонную пластинку. Теми же словами. Не меняя интонации.

Я дал ей три рубля. Хотя и не поверил ни одному ее слову. Она казалась мне хитрой бестией, ловко эксплуатирующей еврейскую чувствительность. И три рубля я ей дал в награду за находчивость.

Правда, уходя с пляжа, я, в нарушение обычая, не выкупался на прощанье в море. Постоял у кромки воды, как у края могилы, и не отважился сунуть туда ногу.

А вечером я гулял вдоль моря. Дул освежающий ветерок, море напозало на песок и со вздохом откатывалось, оставляя клочья тающей пены, как пряди седых волос.

Зонтики уже не стояли, расправив многоцветную ткань, а, опущенные, со сложенными крыльями, они торчали пиками в песчаном безлюдье, и луна отражала их

остроконечные тени на чистом и темном песке.

Пляж был пустынен и чист. Весь мусор убрали граблями, и волнистые линии тянулись по песку почти у самой воды, на которой серебрилась и мерцала, уходя к горизонту, зыбкая лунная дорожка. И в том месте, где лунное серебро упиралось в берег, колыхаясь и вспениваясь, темнел силуэт не то собаки, не то волка, присевшего на задние лапы с задранной к небу мордой.

— У-у-у-у,

— выл силуэт на луну.

Меня охватила дрожь.

Волк взмахнул передними лапами и воздел их над головой, совсем как человек, и голосом нищей старухи заголосил:

— Деточки мои родненькие! То я пришла до вас... ваша мама. Как вы там? Как ваши косточки? Холодно небось в глубине! А? Откликнитесь! Я очень по вас соскучилась.

И снова волчьим воем залилась на луну:

— У-у-у-у... Господи, растолкуй мне... Ну, евреев бьют... Это понятно... А моих деточек кровных за что?

Темный силуэт волчицы умолк, вперившись в медный лунный диск, и, не дождавшись ответа, тоскливо и надсадно завыл:

— У-у-у-у-у...

БЕЛЫЕ НОЧИ

На фронте авиация по ночам отдыхает.

С наступлением темноты самолеты, отбомбившись и отстрелявшись, спешат к своим полевым аэродромам, чтоб успеть приземлиться засветло, и летчики спокойно заваливаются спать до рассвета. Даже зенитчики, хоть и не покидают своих постов у орудий и пулеметов, задранных стволами к темному небу, тоже сладко подремывают, потому что знают: до первой зари им не придется приступить к работе — вражеские летчики в это время тоже спят.

На фронте авиация по ночам отдыхает.

За исключением Северного фронта.

Летом на Севере — белые ночи. Эти ночи ничем не отличаются от дня. Так же светло. И так же светит солнце. Правда, низко-низко, над самым горизонтом. Это и есть полярный день, который тянется не одни сутки, а целых полгода. Потом наступает полярная ночь, и становится темно круглые сутки, и так тянется тоже полгода.

Поэтому лишь на Севере авиация по ночам не отдыхает. Ночи стоят белые, и самолеты взлетают и садятся и тогда, когда на юге день, и тогда, когда на юге ночь. Все двадцать четыре часа в сутки.

А самолетов на Севере не так уж и много. Фронт считается не главным, второстепенным. Вся авиация сосредоточена на центральном и южном участках советско-германского фронта. А в тундре, на ее бесконечных пространствах, до тоски однообразных, без единого деревца, с зыбким мхом на оттаявшей сверху вечной мерзлоте, редко попадает военный аэродром. Обычно — это одна взлетная полоса, проложенная среди сдвинутых в стороны лысых гранитных валунов, называемых «бараньими лбами». Из тех же камней, отполированных еще в ледниковый период, выложены стенки капониров, куда под маскировочные сетки загоняют вернувшиеся с задания самолеты и откуда по сигналу тревоги они выруливают на взлетную полосу. «Бараньи лбы» надежно защищают сверху от бомбежки землянки и блиндажи, вырытые глубоко в оттаявшем грунте: там живут пилоты, технари, готовящие самолеты к полетам, оружейники, набивающие магазины пулеметов патронами и орудийные обоймы — снарядами, ремонтники, латающие пробоины на крыльях и фюзеляжах машин, врачи и медсестры, тоже латающие, но уже пилотов, до которых добралась пуля через пробоину в стенке кабины. В отдельных землянках расположились зенитчики, стерегущие небо от налетов вражеской авиации. А еще подальше, совсем в стороне, горбятся «бараньими лбами» зарытые в грунт казармы БАО — батальона аэродромного обслуживания. И там же под открытым небом материальная часть, даже не затянутая маскировочными сетями: тракторы, бульдозеры, грузовики.

Дальше — тундра. Во все стороны. Со впадинами зеленеющих болот и каменными выпуклостями сопок. До ближайшего населенного пункта километров пятьдесят по разбитой и часто непроезжей дороге. По этой дороге на аэродром поступает снабжение: горючее, боеприпасы и продовольствие. Автомобили идут колоннами, чтоб подталкивать и вытаскивать застрявшие машины. Идут, надрывно гудя моторами, буксуя в вязкой жиже, скрежеща карданным валом и осями по выпершим камням.

А со взлетной полосы уходят в небо остроносые истребители с красными звездами на крыльях. Уходят парами: ведущий и ведомый. Уходят красиво, как трассирующие пули ввинчиваясь в небо. Пропадают за серым горизонтом. Связь тогда с ними аэродром поддерживает по радио. Помочь им ничем нельзя. Только переживать за них и надеяться, что все обойдется, благополучно.

Нередко так и бывает. Возвращаются оба и ведомый и ведущий. Легкие, словно половину веса потеряли. На последних каплях горючего. Израсходовав весь боезапас. С парой пробоин в крыльях и фюзеляже. Такой день считается на аэродроме удачным. А уж если в рапорте значится сбитый самолет противника, тогда уж день совсем хороший. И всему персоналу аэродрома, даже солдатам из батальона обслуживания, по распоряжению командира полка дважды Героя Советского Союза полковника Софронова, начальник продовольственного снабжения капитан Фельдман выдает дополнительных, сверх положенной нормы, сто граммов спирта, разведенного пополам с водой.

А бывает, возвращается один. Ведомый без ведущего. Или наоборот. И возвращается не лихо, а еле-еле тянет. И садится косо, ломая при посадке шасси, а то и крыло.

В таких случаях на аэродроме тоже пьют. Капитан Фельдман выдает дополнительный спирт только пилотам, и те, залпом опорожняя стаканы, поминают не вернувшегося с боевого задания товарища.

Так и течет аэродромная жизнь. Однообразная и скучная, как тундра вокруг аэродрома. Летчики воюют где-то далеко от своей базы и сюда возвращаются, лишь чтоб перекусить да поспать и снова подняться в воздух. О самом бое напишут краткий рапорт да в столовой поделаются с технарями:

— Я его так... А он в сторону... Я ему в хвост, а он, сука, свечкой... Я его...

Вот и весь рассказ.

Дыхание войны краем коснется аэродрома лишь тогда, когда из приземлившегося самолета летчик вылезть самостоятельно не может, и его, обмякшего, приходится осторожно вытаскивать, а с его штанов и унтов сыплется стеклянное крошево разбитой приборной доски, густо смазанное кровью.

Однажды вот так сел, качаясь и опрокидываясь, как пьяный, старший лейтенант Митрохин, по возрасту самый пожилой пилот в полку, даже с сединой на висках. Его машина была пробита и изрешечена пулями. Технари ее потом отказались латать, списали в лом да на запасные части. Митрохин посадил это решето. Даже выключил мотор. А сам не вылезает из кабины. Сбежался народ. Откинули колпак. Митрохин еще жив. Но весь в крови. И в грудь угодило, и в живот.

А главное, обе руки перебиты. И ведь не выпустил руля. Без рук, можно сказать, привел самолет и посадил нормально. Командир Софронов поглядел на его перебитые руки.

Такого, — говорит, — еще в истории авиации не случилось. Как же ты, Митрохин, без рук управился?

У Митрохина уж глаза нездешние, на тот свет косят. Но командиру отвечает:

— У меня, товарищ полковник, четверо детей. Помирать никак нельзя. Вот и долетел.

И там же, в кабине, помер.

Потом во фронтовой газете был помещен его портрет со статьей о том, как любовь к Родине помогла ему без рук посадить самолет на своей базе.

Из-за белых ночей нагрузка летчика на Севере вдвое больше. Взлетай и взлетай. Круглые сутки. Только успевай поспать часок-другой между полетами. Самолет устаёт, не выдерживает такой перегрузки. Приходится заменять материальную часть. А человек выносливей. Тянет. И не жалуется. Да ордена и медали прибавляет к своему иконостасу — по числу сбитых самолетов противника. Пока самого не собьют и не врежется он костями в промерзлый и летом грунт тундры.

Все четыре года войны фронт на Севере не двигался. Стоял на месте. Поэтому летчикам не приходилось менять аэродром. С противником встречались в небе. Машина с машиной. Покружат, постреляют. Кто-то задымит, камнем пойдет вниз, в прах рассыплется на земле. А кто-то домой потянет, на свою базу. Здесь за всю войну в лицо немца не видели. Только самолеты с крестами. Получалось, что воюют не люди, а машины с машинами.

Трудно человеку привыкнуть к белым ночам, к тому, что все время нет темноты, а разлит кругом свет.

Ходишь как в полусне. Глядишь в белесое мглистое небо и такая тоска охватит, что

хоть волком вой.

Как и повсюду на земле, и здесь были свои евреи. Двое на весь аэродром. Начальник продовольственного снабжения полка капитан Наум Фельдман. Всегда в новеньком, прямо со склада, обмундировании. Армейская летная форма на нем сидит ловко, как на манекене. Фельдман больше всех походит на бывшего вояку. Летная кокарда на фуражке и золотые авиационные крылышки на кителе выглядят на нем особенно лихо. Возможно, потому, что он ни разу не поднимался в воздух на боевой машине.

Боевые пилоты, те, кто каждый день жизнью рисковали, к Фельдману относились без особой любви, но и неприязни тоже не проявляли. У начальника продовольственного снабжения всегда можно разжиться кружкой спирта сверх положенной нормы. Таким знакомством какой нормальный человек побрезгует?

Зато другой еврей был в полку в почете. Саша Круг. Похожий на цыгана, вся голова в колечках черных волос. Нос с горбинкой. Орлиный. И белые-белые зубы. Тоже капитан. Пилот. Из ветеранов полка. Ни разу не был сбит. А у самого на счету семнадцать самолетов противника. Сбитых индивидуально. Не считая тех, какие поджег в групповом бою, когда точно не определишь, чья пулеметная очередь была решающей.

У него на кителе, который надевал он, вернувшись с полета, лучилась Золотая Звезда Героя Советского Союза. А орденов и медалей было столько, что он их не надевал, а хранил кучкой в чемодане.

Оба еврея дружили, хоть и разнились, как день и ночь на юге. Саша-хулиган, задира, выпивоха. Наум — поведения примерного, застенчив, а что касается спиртного, капли в рот не берет, при том, что все запасы хранятся под его началом.

Но когда на сотни километров тундры только два еврея, то какими бы они ни были разными, обязательно потянет их друг к другу.

Их дружба началась давно. Саша Круг тогда еще ходил в лейтенантах и служил в другом полку, бомбардировочном, пилотом на СБ — скоростном бомбардировщике с экипажем в три человека. Их аэродром располагался далеко от истребителей, тоже в тундре, но южнее.

С Наумом Фельдманом Саша Круг познакомился, когда его самолет, подбитый зенитным огнем, не дотянул до своей базы и совершил вынужденную посадку на чужом аэродроме, у истребителей. Пока прибывшие из их полка технари приводили бомбардировщик в порядок, экипаж наслаждался отдыхом, как будто попал в санаторий. Начальник продовольственного снабжения капитан Фельдман так обрадовался встрече с другим евреем, тоже из авиации, да еще боевым пилотом, что не поскупился, всех троих чужих летчиков обеспечил выпивкой и разнообразными закусками.

Саша Круг — высокий, худой, напоминавший ястреба, всегда готового взлететь, — оказался парнем хоть куда, веселым и проказливым, и за ним толпой ходили развесив уши истребители, свободные от полетов. За те несколько дней, что он прожил у них, Саша успел покорить не только весь летный персонал, но и неприступную крепость аэродрома — медсестру Эру, в которую лейтенант Бондаренко от избытка неразделенных чувств стрелял из пистолета и все равно склонить не смог. Саша

покорил Эру с легкостью необыкновенной и, окрестив ее Эпохой, улетел на отремонтированном бомбардировщике, оставив Эру в слезах, а весь аэродром в растерянности. Потому что с его отлетом как бы кончилась веселая жизнь и наступили скучные будни.

Но Саша не исчез навсегда. Он повадился, возвращаясь с боевого задания, хоть на часок-другой делать посадку на этом аэродроме, забирая далеко в сторону от указанного маршрута. То у него, видите ли, горючее на исходе и надо подзаправиться, то забарахлил один из двигателей и тут же, если не совершить вынужденной посадки — гибель всему экипажу. А экипаж подобрался — свои ребята и пилота не закладывали.

У летчиков-бомбардировщиков была мода: каждый экипаж красил коки на своем самолете в другой цвет. Коки — это конусные воздухообтекатели впереди винта. У Саши коки были красного цвета. Поэтому, когда его СБ появлялся над аэродромом истребителей и делал круг, прежде чем зайти на посадку, все узнавали самолет по кокам. Капитан Фельдман поспешно отдавал распоряжение столовой приготовить обед для экипажа, а медсестра Эра, еще пока самолет с красными коками кружил в небе, стремглав бежала из санитарной землянки через весь аэродром в отдельный блиндаж к капитану Фельдману, и тот покорно уходил, отдав ей ключи.

Посадив самолет, Саша сразу отцеплял ремни парашютов, вылезал на крыло, кивал сбежавшимся технарям, а сам устремлялся на длинных, циркулем, ногах к блиндажу Фельдмана, где Эра уже дожидалась в спальном мешке. Потом, если время позволяло, обедал в столовой со своим дружкой Наумом и, прихватив в подарок бутылку спирта, улетал, описав красными коками прощальный круг над гостеприимным аэродромом истребителей.

Весь наземный персонал, да и летчики тоже провожали, задрав головы к небу, бомбардировщик с красными коками, и на их лицах можно было прочесть восторг и уважение к лихому пилоту.

Однажды Саша, заскочив к ним в очередной раз, отколол такой номер, что все истребители животы надорвали от хохота, а начальник продовольственного снабжения капитан Фельдман чуть в госпиталь на угодил.

Была у тихого начпрома мечта — слетать на боевое задание. Чтоб хоть как-то оправдать авиационную кокарду на фуражке, а на кителе — золотом шитые крылышки. В истребитель не сядешь. Он — одноместный, в кабине лишь пилот умещается. То ли дело — бомбардировщик. Да и Саша — лучший приятель. И притом еврей. Не поднимет на смех.

Фельдман попросил Сашу, и Саша не отказал. С серьезным видом, на глазах у экипажа, посетовал, что он бы рад, да в самолете каждый сантиметр рассчитан, нет свободного пяточка. Только лишь если капитан согласен лечь в бомболюк. Там сейчас свободно, бомбу они сбросили над расположением противника. Если вытянуть руки по швам и не требовать особого комфорта, то капитан Фельдман может вполне поместиться в наглухо закрытом бомболюке и кислорода ему хватит, пока самолет не вернется на базу.

Разволнованный начпрод тут же согласился, и Сашин экипаж подсадил его под брюхо самолета в распахнутые створки бомболюка и створки эти захлопнул.

Потом взревели моторы, самолет задрожал как в лихорадке. Все, кто свободен был от вахты, сбежались к содрогающемуся бомбардировщику, и только рев моторов не позволил бедному начпроду расслышать громовой хохот.

С полчасика тряся в бомболюке капитан Фельдман, уверенный, что он парит высоко над землей, и главной его заботой было не сплевать, как это, он знал, случается в полете с новичками. Потом Саша нажал кнопку бомбометателя. Створки бомболюка с треском распахнулись под телом начпрода, и он, вместо бомбы, полетел вниз, по направлению к земле. Именно так успел подумать начпрод и даже успел попрощаться с жизнью.

Летел он ровным счетом два с половиной метра. Потому что самолет все эти полчаса стоял на земле со включенными двигателями, и экипаж, потешаясь, распивал разведенный спирт за здоровье славного начпрода Фельдмана. Капитан, пролетев два с половиной метра, умудрился потерять сознание и мгновенно заболеть медвежьей болезнью. Когда тут же под самолетом его приводили в чувство, резкий запах нашатыря не смог перебить вонь, исходившую из диагональных галифе начпрода.

Капитан Фельдман простил Сашу. Потому что не хотел лишиться лучшего друга. А обвинить его в антисемитизме — тоже нелепо. Саша Круг — сам еврей, да еще с типичной физиономией. Только шальной еврей, которому море по колено и жизнь не в жизнь, если он не отколет какой-нибудь номер.

Кончилось все тем, что командир полка, знаменитый Софронов, не захотел отпустить лихого пилота с СБ и договорился в высоких инстанциях о переводе лейтенанта Круга из бомбардировочной авиации в истребительную.

У знаменитого Софронова был верный глаз. Став истребителем, Саша Круг прославил полк семнадцатью сбитыми самолетами противника и к списку полковых асов добавил еще одного кавалера Золотой Звезды.

С капитаном Фельдманом они остались друзьями. Когда истребитель Саши взмывал в небо, Фельдман, обычно очень аккуратный и дисциплинированный офицер, становился рассеянным, отвечал невпопад, и это длилось до тех пор, пока остроносый самолет с семнадцатью звездочками по фюзеляжу не пробежал, гася скорость, по взлетно-посадочной полосе, замирал у края, останавливал винт, откидывал плексигласовый колпак над кабиной и оттуда высовывался стянутый шлемофоном горбоносый, как у ястреба, профиль.

А роман с медсестрой Эрой закончился прозаически. Женитьбой. Эра забеременела, и капитан Круг, как человек порядочный, из приличной еврейской семьи, счел свои долгом расписаться со скуластой сибирячкой, которая незамедлительно была демобилизована и, неся впереди выпуклый живот, отбыла в слезах в свой родной город Томск. Капитан же остался в полку и продолжал летать над тундрой, нетерпеливо ожидая весточки из Сибири о рождении сына.

Но пока он ждал эту весть, пришла совсем иная.

У Саши была семья. Мать, отец. Братья, сестры. На Украине. И с тех пор, как немцы заняли этот городок, ничего не знал он о судьбе родных. Саша попал на Север еще до войны и там воевал несколько лет, везучий и удачливый, ни разу не сбитый, выходя целым и невредимым из самых, казалось бы, безвыходных положений.

Когда освободили родной его город на юге, он стал писать туда по старому адресу

и наконец получил ответ. Написанный чужой рукой. Соседи извещали Сашу, что никто из его семьи не остался в живых. Всех до одного убили фашисты. И покоится его родня в братской могиле, в которой лежат и остальные евреи этого города.

И не стало в авиационном полку веселого и удачливого пилота Саши Круга. Глаза его потухли. Лицо почернело. Поросло бородой. И капитан Фельдман, единственный знавший еврейские обычаи, пытался объяснить другим пилотам, что Саша, перестав бриться, следует древнему обряду поминовения усопших родных.

Командир полка Сафронов снял его с боевых полетов, хотя каждый пилот был на вес золота. В таком со— стоянии Саша проиграл бы первый же воздушный бой. Попробовал командир поговорить с ним по душам, образумить, привести в чувство. Безуспешно.

— Отпусти меня, командир, в пехоту, — попросил Саша, и в глазах его стояли слезы.

— Как же тебя отпустить в пехоту? — всплеснул руками Софронов. — Да меня ж за это расстрелять и то мало будет, если я такого сокола, такого первоклассного пилота спишу в пехоту. Только враг, чтоб ослабить нас, такое может допустить. Ты еще, брат, летаешь. И за кровь твоих родных не одного фашистского гада отправишь в ад.

— Нет, — замотал Саша кудрявой, с первыми нитями седины головой. — В небе я бью самолеты. А мне крови надо! Чтоб лицом к лицу! В глаза его посмотреть, а потом уж бить и видеть, как он корчится, подыхая. Отпусти, командир, в пехоту.

Не уважил командир полка просьбу Саши. Приказал ему не отлучаться с аэродрома, а товарищам по блиндажу велел не спускать с него глаз. Человек, мол, отчаянный. До беды недолго.

А потом был воздушный бой. Недалеко от аэродрома. Наших в небе вдвое меньше, чем противника. Остальные экипажи ушли раньше на задание. Один лишь самолет капитана Круга оставался в резерве под маскировочной сеткой. Махнул на все рукой полковник Софронов и скрепя сердце послал на подмогу своим чумного от горя капитана.

Никогда до того так не дрался Саша Круг. Не страхуясь, напролом ворвался в строй вражеских самолетов, раскидал их, а одного прошил пулеметной очередью и поджег. Погнался за другим и ушел далеко от места боя. Он превосходил опытом противника. Гонял его, как ястреб воробья, по небу. Сам постреливал экономно, сберегал боезапас. А того довел до того, что он все, что имел, расстрелял впустую, ни разу не зацепив Сашиной машины.

Того-то и добивался капитан Круг. Противник был обезоружен, и ему только оставалось на последней скорости удирать к своим через линию фронта, под защиту зенитных батарей.

Саша не дал ему уйти. Но и добивать не стал. Прижал низко к земле и на бреющем полете погнался к своему аэродрому. Чуть не верхом на немецком самолете, цепляя выпущенными шасси прозрачный колпак над кабиной летчика, посадил он его на бетонную дорожку и сам сел вслед за ним, и обе машины бежали по земле друг за дружкой, словно одна, со звездами, вела другую, с крестами, под конвоем.

Немец затормозил. Сашин истребитель, обогнув его, пробежал сотню метров и

тоже застыл. Немец откинул колпак и вылез из кабины по крылу на бетон, сбросил с плеч парашютный мешок и поднял вверх руки.

Со всех концов поля к нему бежали русские. Технари. Солдаты из БАО. Такого еще на аэродроме не бывало, чтоб живой немец сел и сдался в плен. Каждому любопытно поглядеть на эту невидаль, и все, кто были на аэродроме, побросав свои дела, мчались к самолету с выпученными от любопытства глазами. Даже командир полка Софронов и тот бежал, задыхаясь от излишнего веса и позванивая двумя Золотыми Звездами Героя Советского Союза.

Но впереди всех, он-то был ближе, спешил к немецкому самолету Саша Круг. Бежал косолапо в меховых унтах, забыв сбросить парашютный мешок, и тот мягко бил его по задку, мотаясь на брезентовых ремнях. Правой рукой он шарил по боковым карманам комбинезона и уже, когда был шагах в пятидесяти от немца, вытащил то, что искал, — черный пистолет ТТ.

Немецкий летчик стоял неподвижно, спиной прижавшись к алюминиевому, в маскировочных пятнах, боку своего самолета, и справа от него, ближе к хвосту, там, где на советских самолетах звезда, зловеще распластался рубленый короткопалый крест. Летчик стащил с головы шлемофон и, мигая белесыми ресницами, смотрел, как замороженный, на Сашу Круга, приближавшегося к нему, тяжело дыша, с каждым шагом выше поднимая пистолет.

Лицо немца было бледно. Под стать его белокурым, от пота слипшимся на лбу волосам. А в бесцветных, как небо над тундрой, глазах застыл ужас, какой только может охватить человека перед лицом неизбежной, неминуемой гибели. Эта смерть сосредоточилась в круглом черном отверстии пистолета, мерно качавшемся в такт тяжелым неуклюжим шагам русского летчика.

Саша перешел с бега на шаг. Не потому что устал. Он разглядел лицо врага. Нормальное человеческое лицо. До жути обыкновенное лицо испуганного мальчишки. Немец был намного моложе его. Без шлемофона, со взъерошенными потными волосами, ему и двадцати лет не дашь. И запал ярости, какой клокотал в Саше, пока он гонял его в небе, а потом бежал с пистолетом в руке по земле, стал быстро улетучиваться, и уже последние шаги, отделявшие его от немца, Саша прошел, смущенно опустив пистолет к бедру.

Он стал — против него, расставив толстые ноги в меховых унтах. Они еще были одни. Народ, со всех сторон мчавшийся к немецкому самолету, еще не добежал. И, глядя в мягкое, окончательно не сформировавшееся по-мужски лицо немецкого летчика, которого он еще минуту назад был готов растерзать, Саша смутился и от смущения улыбнулся. Немец ухватился за эту улыбку, как утопающий за спасательный круг, и тоже улыбнулся, часто-часто заморгав рыжеватыми ресницами. На его ожившем лице проступили веснушки, множество веснушек, которых прежде из-за смертельной бледности нельзя было разглядеть.

Тут уж Саша окончательно смутился и ляпнул:

— Давай меняться сапогами.

И прихлопнул ладонью по меховому голенищу своего унта.

Немец ничего не понял. Заулыбался еще шире, обнажив неровные мальчишечьи зубы.

Вокруг них быстро густела, сопящая после бега, толпа технарей и солдат из БАО. Технари были в замасленных грязных комбинезонах. Солдаты в стеганых телогрейках и бушлатах не первого срока, в дырах и пятнах. Поэтому, когда протолкался вперед позже других добежавший командир полка, от волнения он не нашелся, что сказать, и строго прикрикнул на своих:

— Что за вид! Не солдаты, а черт знает что! Хорошенькое мнение составит о вас противник.

А «противник» по массивной фигуре и двум Золотым Звездам на кителе определил, что этот человек и есть самый главный на аэродроме и от него теперь зависит его судьба, и впился глазами в рыхлое, в складках, лицо полковника. Софронов из-под строго нахму— ренных бровей мельком глянул на немца и криво усмехнулся:

— Пацан. Летать не умеешь.

И протянул ему широкую мясистую ладонь:

— Ну, здравствуй, летун... коль пожаловал в гости. Немец обеими руками облапил его руку и не отпускал, пока кольцо солдат и технарей не грохнуло беззлобным хохотом.

Молчать! — еще больше растерялся полковник Софронов. — По нашему русскому обычаю гостя нужно перво-наперво накормить.

И через весь аэродром пестрой гурьбой двинули к летной столовой. В центре — совсем ошалевший немец. Справа — Саша Круг, так и не снявший парашюта и шлемофона. Он был выше немца и положил ладонь на его плечо, словно придерживая добычу и этим давая всем понять, что это его, Саши Круга, добыча. Но в то же время Сашина ладонь на плече у немца была вернейшим знаком совсем не враждебного, а, скорее, фамиллярного отношения к пленнику. Слева топал, тяжело отдуваясь и сопя, тучный полковник Софронов, озабоченный тем, как дальше поступить с немцем, ибо с такой ситуацией ему приходилось сталкиваться в первый раз.

В столовой немца усадили между Сашей и Софроновым. Любопытных технарей и солдат не пустили на порог. За столом разместились только офицеры, летчики и, конечно, начпрод капитан Фельдман, тоже до обалдения взволнованный случившимся и метавший глазами молнии на нерасторопных подавальщиков.

Кто-то из офицеров немножко кумекал по-немецки, и его усадили напротив, чтобы переводил. Тогда же узнали имя немца — Вальтер, и все по очереди назвали себя и при этом обменялись рукопожатием. Немец сидел распаренный, потный, со счастливым и глупым выражением на веснушчатом лице.

Его накормили от пуза. Начпрод достал из тайников вкуснейшие вещи, какие хранились для особого случая: копченые телячьи языки в американских косерв-ных банках, семгу, которую летчикам в подарок привозили рыбаки-поморы, и даже красную кетовую икру с Дальнего Востока.

Немец объелся и облился. Но пока он еще мог сидеть на скамье, подпираемый плечами соседей, Саша с помощью переводчика, а больше жестами пытался втолковать ему, какие промахи он по неопытности допускал в небе и как и каким способом он, Саша Круг, заставил его впустую израсходовать весь боезапас, а уж заставить его сесть было делом плевым.

Немец на все согласно кивал головой и глупо, по-пьяному, ухмылялся. А когда Саша, тоже крепко подвыпивший, вдруг помрачнел и с паузами, тяжело выдавливая слова, поведал Вальтеру, почему он его посадил живым и бежал потом с пистолетом, рассказал, что случилось с его семьей, немец, хоть и пьяный, перестал улыбаться, брови его горестно полезли вверх, и он припал к Сашиному плечу и стал тереться щекой. Саша обнял его, похлопал по спине. А начпрод капитан Фельдман, у которого был американский фотоаппарат с магниевой вспышкой, заснял их в этой позе. Мрачно набычившегося Сашу и раскисшего, развесившего губы Вальтера.

К концу обеда немца пришлось тащить волоком из-за стола. Возле столовой у автоцистерны он упал на колени, и его стало выворачивать наизнанку. Летчики снисходительно и понимающе смотрели. Полковник Софронов, румяный от выпитого спирта, хмыкнул:

— Слабы...

А Саша вступился:

— Мальчишка... Какой с него спрос?

Вечером на аэродром прибыли офицеры СМЕРШа. Контрразведка. Из Мурманска. Прибыли за немцем, который спал безмятежно в офицерском блиндаже на койке Саши Круга. Саша спал на пороге блиндажа и сказал, что этот немец его и никому его не отдаст, » а если им, контрразведчикам, так позарез нужен немецкий летчик, то пусть они попробуют посадить самолет, а пилота взять живьем.

Сашу уговаривали, грозили. А он — ни в какую. Сам полковник Софронов вступил с ним в переговоры и тоже не уломал,

— Мой немец, — упрямо повторял Саша. — Не отдам.

— Пьян, — как бы извиняясь, развел руками Софронов. — Проспится — пожалеет.

Так и ушли контрразведчики ужинать, ничего не добившись.

Наступила ночь. По-прежнему было светло. И солнце не ушло за горизонт, а висело низко-низко бледным размытым пятком. И тускло поблескивали вокруг аэродрома каменные бока «бараньих лбов».

Капитан Круг уснул, не раздеваясь, присев у порога блиндажа. Контрразведчики, стараясь не шуметь, обошли его и, разбудив ничего не понявшего спросонья Вальтера, увели. Когда проходили мимо спящего Саши, немец узнал его и рванулся. Но ему зажали рот и скрутили руки за спиной.

Вальтера увезли в Мурманск, допросили и отправили в лагерь военнопленных, размещившийся за колючей проволокой в тундре на окраине города Мончегорска. И стал Вальтер, как другие немцы, обычным пленным. В серой безликой колонне водили его конвоиры на работу: чинить дороги в тундре, посыпать осевший от таяния грунт щебнем и добывать щебень, раскалывая тяжелым молотом серые камни-валуны.

Стояли белые ночи. На вышках даже прожектора не включали. Часовым все видно как на ладони. И когда другие пленные спали на двухэтажных нарах в бараке, Вальтер выходил наружу и бродил в призрачном свете вдоль столбов с колючей проволокой, вызывая недовольные окрики часовых.

Он вглядывался в тундру, в узкую грунтовую дорогу, глубокие автомобильные

колеи на которой уходили к неясному горизонту. Вглядывался, будто ждал кого-то. Ждал и дождался.

Однажды, когда лагерь спал, а Вальтер, как всегда, вышел к проволоке, он увидел на Дороге подсакивающий на ухабах грузовик. А когда автомобиль приблизился, Вальтер просиял и запрыгал, как мальчишка. В кузове, опершись локтями на крышу кабины, стояли, покачиваясь, три русских летчика, и в одном из них Вальтер сразу узнал капитана Круга.

Летчики, бренча орденами и медалями на кителях, переговорили с лагерным начальством, и Вальтера выпустили к ним за проволоку. Они даже обнялись, как старые друзья, а так как переводчика с ними не было, объяснялись восклицаниями и жестами.

Сели в кружок на камни. Друзья развязали вещевые мешки, достали съестные припасы, вспороли ножами консервные банки, из бутылки по кругу глотнули разведенный спирт. Вальтер тоже глотнул и захлебнулся, зашелся кашлем. Летчики с хохотом стучали кулаками по его спине и объяснили, чтоб ел, не стесняясь, а то ведь совсем дойдет на лагерном пайке.

На прощанье насовали ему в карманы консервов, плиток шоколада и парочку луковиц-что в тундре является особым деликатесом.

На той стороне проволоки, словно учуяв запах пищи, столпились выползшие из бараков пленные в серо-зеленых шинелях внакидку.

— Ешь сам! — строго наказал Вальтеру Саша Круг. — А этим гадам — ни кусочка!

Он окинул злыми глазами пленных за проволокой.

— Понял? Иди и лопай! Скоро еще приедем. Жди!

И грузовик с тремя летчиками в кузове укатил в тундру, залитую неживым светом белой — ночи.

С тех пор Вальтер, как на пост, выходил каждую ночь к проволоке. Даже часовые на вышках смотрели, куда и он, на дорогу. Они-то, часовые, первыми увидели грузовик.

— Эй, фриц! — закричали они Вальтеру. — Твои едут!

За кабиной грузовика на сей раз стояли только два летчика. Не было капитана Саши Круга. И в кабине рядом с водителем место пустовало.

Летчики сели на камни, стали развязывать вещевые мешки. А Вальтер беспокойно спрашивает что-то по-немецки, и они хоть ни слова не понимают, а догадались сразу, что он интересуется, почему не приехал Саша Круг.

— Нет Саши, — вздохнул летчик. — Сгорел. Сказано было по-русски. Но Вальтер понял. Понял и застыл. Потом медленно отодвинул от себя консервные банки, поднялся с земли и пошел, сторбившись, к проволочной ограде. Припал к столбу лицом и не шевелился.

Над ним стояла белая полярная ночь. Нечеткий, неживой свет был разлит над тундрой, и «бараньи лбы» тускло отсвечивали базальтовыми боками.

ОСВЕДОМИТЕЛЬ

Встречали вы еврея с такой кондовой русской фамилией Полубояров? Фамилией, которая сразу вызывает в памяти нехорошие ассоциации: казацьи чубатые рожи на горячих храпящих конях, гоняющие саблями несчастных евреев по кривым улочкам местечек в черте оседлости. Фамилией, от которой за версту разит погромом. Чем-то антисемитским.

Я знал еврея с такой фамилией. Аркадий Полубояров — московский художник-ретушер, в основном специализировавшийся на портретах вождей, по чьим упитанным и строгим лицам он проходил рукой мастера, придавая им несколькими легкими штрихами и точками более представительный и торжественный вид.

Работенка не пыльная и довольно денежная. Потому что спрос на портреты вождей, так же как и на сахар и на хлеб, в Советском Союзе никогда не иссякает, а, наоборот, постоянно возрастает, и Аркадию Полубоярову всегда был обеспечен его бутерброд, даже с колбасой, а порой и с икрой.

Особенно прочно закрепился он на своем месте после одного случая, из-за которого в кругах московских газетных репортеров и фотографов при появлении Полубоярова пробегал уважительный шепоток: — Он открыл глаза Брежневу.

Вождю советского народа. Главе СССР. Среди бесчисленных добродетелей которого любовь к евреям как раз не числилась.

И кто открыл глаза ему, ведущей мировой фигуре, перед которым трепещут иностранные премьер-министры и последние уцелевшие на земле короли? Аркадий Полубояров, тихий и совсем неприметный еврей. Он и в политике-то не смыслит ни шиша, и, как человек достаточно пуганный, не очень-то и норовит что-нибудь в ней понять.

И тем не менее открыл глаза Леониду Ильичу Брежневу не кто иной, а Аркадий Полубояров. Открыл единственным способом, доступным ему. И никому другому. За исключением, пожалуй, еще нескольких профессиональных ретушеров, но их, на счастье, не оказалось под рукой в тот самый нужный момент, когда взошла его, Аркадия Полубоярова, звезда.

Брежнев где-то закончил очередную речь, и у допущенных к высокой трибуне на дозволенное расстояние газетных фотографов, как на грех, засветилась в аппаратах отснятая пленка, и лишь с одного чудом уцелевшего кадрика удалось отпечатать сносную фотографию выступающего перед народом вождя.

Все на ней выглядело пристойно. И даже вставные челюсти смотрелись как настоящие. За исключением одного. Глаз. Когда фотограф щелкнул камерой, Брежнев моргнул, и на единственном пригодном к печати снимке получились закрытые, как у покойника, глаза.

Мороз продрал по коже редакторов газет при виде этого снимка. Речь Брежнева идет в очередной номер, а фотографии докладчика нет. Редакторы явственно чувствовали, как из-под их ягодиц ускользают редакторские кресла.

И тогда настал звездный час Аркадия Полубоярова.

Случилось гак, что он безо всякого определенного дела толкался в редакции самой

главной газеты и услышал стоны из редакционного кабинета. Узнав, в чем дело, он попросил разрешения взглянуть на портрет «спящей красавицы». Фотографию положили дрожащими руками перед светлые очи ретушера и застыли в ожидании приговора. Судьба редакторов была сейчас полностью в руках этого еврея, с которым они даже не считали нужным здороваться, когда натыкались на него прежде в редакционных коридорах.

Аркадий Полубояров пожевал толстыми вялыми губами, от чего они прижались к кончику его длинного носа, и сказал слова, потом облетевшие всю газетную Москву:

— Я открою ему глаза.

Редакторов прошиб пот. Один из них, большой антисемит, по уверениям свидетелей, публично обнял Аркадия, прижал к своей жирной груди и даже всхлипнул.

— Он заперся в лаборатории, откуда попросил всех удалиться, и все высокое начальство толпилось в коридоре, затаив дыхание и предупреждающе цыкая на каждого, осмелившегося приблизиться к двери, за которой колдовал их спаситель.

Надежда на спасение была самая минимальная. Что может сделать ретушер? Ну, подбелить зубы. Убрать морщины. Но открывать закрытые глаза?

На следующий день во всех газетах вместе с речью Брежнева появился его портрет с открытыми глазами. И никаких следов подделки. Шедевр ретушерской работы. Благодарное начальство тут же выписало Аркадию двойной гонорар и из премиального фонда отвалило денег на поездку на курорт.

Этим все и ограничилось. Когда он вернулся с курорта, обгорев на южном солнце, с шелушащимся, как молодой картофель, розовым носом, начальство снова перестало узнавать его и, сталкиваясь в редакционных коридорах, забывало, как и прежде поздороваться. А теперь возвратимся к тому, с чего начали. Откуда у еврея такая, мягко выражаясь, нееврейская фамилия? Полубояров! Откуда имя Аркадий — понятно. Это слегка модернизированное еврейское имя Абрам. Таких Аркадиев в России — пруд пруди. Но Полубояров ни из какой еврейской фамилии не сделаешь, сколько бы ты ни мудрил. Такой в ней прочный русский парень.

Гадать нечего. Это, конечно, была не его, Аркадия, фамилия. Его отца Абрама Перельмана люди знали именно по этой фамилии, и в документах он был записан черным по белому — Перельман. И Аркадий, пока не женился, таскал на себе, как гроб, эту очень уж еврейскую фамилию. Хотя и без фамилии по его черным меланхоличным глазам и длинному семитскому носу ни у кого, даже у малограмотных дворников, его еврейское происхождение не вызывало сомнения.

Жил в Москве шофер. Обыкновенный русский парень. Алеша Полубояров. Ничем не выдающийся. Крутил баранку своего грузовика, зарплату аккуратно отдавал своей жене Клаве, а что перепало сверх того — утаивал и пропивал в компании своих же шоферов.

И духом не ведал Алеша Полубояров, что станет родоначальником целой семьи Полубояровых, с которыми у него никаких кровных связей не было и быть не могло.

Первой получила эту, довольно редкую в нынешней России, фамилию его законная жена Клава. Выйдя замуж за Алешу, она, естественно, сменила свою девичью

фамилию Кургапкина на более представительную мужеву — Полубоярова.

Сам Алеша, в жилах которого играла казачья кровь, выпив, любил дать волю рукам. Клаву он поколачивал регулярно. В каждую получку. А иногда и до.

Когда же, будучи на взводе, он не мог отыскать спрятавшуюся у соседней Клаву, то начинал приставать к посторонним. И те уж колотили его. Однажды, по пьяному делу, ему проломил автомобильной ручкой череп, и Полубояров отдал Богу душу в 1-й Градской больнице, так и не придя в сознание.

Осталась в Москве молодая симпатичная вдова Клава Полубоярова, в девичестве Кургапкина. Кроме фамилии ей осталось от мужа, как бы в наследство, пристрастие к вину, что позже на суде фигурировало как одна из причин ее развода с Аркадием.

Аркадий, которого женщины не очень баловали своим вниманием, женился на Клаве к немалому удивлению своих знакомых. Это был явный мезальянс. Хоть в рабоче-крестьянском государстве классовые различия были ликвидированы еще в революцию 1917 года и все граждане объявлены равноправными, женитьба газетного работника, то есть журналиста, даже если он всего лишь ретушер, на простой официантке, да еще с пристрастием к выпивке, никем не воспринималась как равный брак. Тем более Аркадий еврей, а у Клавы фамилия какая-то подозрительно антисемитская.

Но именно эта фамилия больше всего в Клавином приданом привлекла сердце Аркадия. В ЗАГС он вошел под руку с еще трезвой Клавой, как Аркадий Перельман, а вышел оттуда с ней же под руку, но уже Аркадием Полубояровым. Он взял фамилию жены. Это практикуется весьма редко, но законом не возбраняется.

И стал Аркадий абсолютно русским человеком. Если бы не физиономия, предательски выдававшая его происхождение. Да запись в паспорте, в пятой графе, отвечающей на вопрос национальность, коротким, как плевок, ядовитым словом: еврей.

Люди, с которыми Аркадию доводилось общаться, диву давались, откуда, мол, у еврея такая редкая русская фамилия Полубояров! Известен был под такой фамилией лишь генерал танковых войск, прославившийся во вторую мировую войну. В победных приказах Главнокомандующего генералиссимуса Сталина, которые торжественно транслировались на всю страну по радио, почти каждый день отмечались танкисты генерала Полубоярова.

У военных от столкновений с Аркадием зарождалось нехорошее подозрение о далеко не чистом происхождении прославленного русского генерала, и они иногда дотошно допытывались у Аркадия, в каком родстве состоит он со своим знаменитым однофамильцем. На что Аркадий, себя за дурака не державший, отвечал неопределенно пожиманием плеч и скромным потупленным взором. Мол, не хочу вдаваться в подробности, а также примазываться к чужой славе. Понимайте так, как сочтете нужным. А лучше всего: замнем для ясности. Умный поймет, а глупому знать нечего.

Разведясь с Клавой, Аркадий сохранил за собой фамилию Полубояров. А женившись во второй раз, хоть и фиктивно, одарил этой фамилией еще одну женщину, которая стала числиться по всем документам, в том числе и в выездной визе на предмет отбытия из СССР на постоянное жительство в Израиль, гражданкой

Полубояровой.

Но об этом потом и подробней, потому что и сам Аркадий считает историю второго и фиктивного брака самой мрачной страницей своей жизни.

Пожалуй, главной страстью всей жизни этого человека было постоянное неутолимое желание хоть чем-то выделиться из серой массы, обратить на себя внимание, привлечь интерес окружающих. Любым способом. Случай с закрытыми глазами Брежнева, которые он распахнул на читателей советских газет, совсем недолго щекотал самолюбие Аркадия и был известен лишь узкому кругу журналистов. Миллионы читателей даже и не догадывались, какой операции были подвергнуты глаза Главы государства, и тем более не знали, кто эту операцию совершил.

У кого-то были военные заслуги, и об этом свидетельствовали ордена и медали, надеваемые на грудь по праздникам. Аркадий этим не мог похвалиться. Кто-то съездил в заграничную командировку и в узком кругу рассказывал удивительные истории о тамошней жизни, чего в газетах никогда не прочтешь, и такого рассказчика слушали с разинутой пастью и круглыми от восторга и зависти глазами. Аркадия за границу ни разу не пустили, и поражать воображение слушателей было, соответственно, нечем. Кто-то, наконец, был красив и неотразим, и вокруг него штабелями лежали расколотые женские сердца. Аркадий же никак не мог причислить себя к славной когорте сердцеедов.

Он был довольно высок, но сутул. Толстогуб и длиннонос. И, в довершение ко всему, на верхней губе у него торчала бородавка довольно значительных размеров, и с таким украшением нужно было обладать большой дозой мужества, чтобы отважиться протянуть свои губы даже для поцелуя. Аркадий этим мужеством не обладал.

Он избрал самый простой и доступный ему путь к славе. Молчание. Намек. Загадочность. Так вел он себя, когда его фамилия Полубояров вызывала в памяти у людей ассоциации с прославленным военачальником. Не подтверждал, но и не отрицал. Томитесь в мучительных догадках.

Но генерала Полубоярова помнили лишь отставные военные. Людей помоложе и, в особенности, женщин этим не взволнуешь. Нужно было что-нибудь действующее сильно и неотразимо.

И Аркадию показалось, что он нашел это средство.

В Советском Союзе ни для кого не секрет, что самая большая власть в стране не у правительства, а у КГБ — Комитета государственной безопасности, который явно и тайно неусыпно следит за каждым гражданином и, как лучами рентгена, прощупывает всю его жизнь. Судьба каждого в СССР находится в руках таинственного и страшного КГБ, официально называемого весьма романтично — щит и меч революции.

Аркадию понравилась идея понежиться в лучах жуткой славы этого страшилища. Он стал намеками и недомолвками слегка приоткрывать свои связи с некоторыми ответственными лицами из этой организации. С которыми он будто бы на короткой ноге и принимаем в их кабинетах запросто, без доклада.

Люди слегка бледнели, когда улавливали смысл его намеков, и начинали тщательно взвешивать каждое слово, произнесенное при нем, и лихорадочно вспоминать, не сболтнули ли чего-нибудь лишнего в прошлом.

— Никакого ослабления гаек не ожидайте, — произносил он таинственно и бросал взгляд на дверь, не подслушивают ли чужие. — Гайки завинтят еще туже... Предполагаются большие аресты... Среди творческой интеллигенции.

Он старался произвести впечатление. И производил. Люди замыкались. Всячески норовили избегать его.

А он-то предполагал, что, догадавшись о его связях, они станут искать его дружбы и покровительства, чтобы в трудный момент (а кто застрахован от такого в СССР?) Аркадий Полубояров замолвил за них словечко где следует и уберег от больших неприятностей.

Неприятности Аркадий навлек на себя. Он попал в КГБ. Но не в том амплуа, в каком силился предстать перед окружающими. Его вежливо пригласили на допрос. Вернее, на беседу. Так это в последние, более либеральные годы называется в этом учреждении. И, как мальчишку, высекли за то, что он своей безответственной болтовней компрометирует славные советские органы государственной безопасности, и в подтверждение того, что эти органы зря казенный хлеб не едят, показали ему пухлую папку с донесением обо всем, что он болтал. Слово в слово. Как стенографический отчет.

Он задрожал как осиновый лист, быстро-быстро припоминая все ужасы, слышанные им или читанные украдкой в нелегальной литературе, гулявшей по рукам в Москве, о пытках и истязаниях, которым подвергают в подвалах этого дома всякого, попавшего сюда не по своей воле.

— Виноват, виноват... — залепетал *он*.

— По глупости все... Фантазии меня, знаете, посещают...

— Мы умеем лечить от таких фантазий.

— Не сомневаюсь... Но... я заслуживаю снисхождения... У меня заслуги...

— Какие заслуги?

— Я открыл глаза Брежневу. — Что-о-о?

Аркадий, путаясь и сбиваясь, пытался поведать им о звездном часе своей жизни, но его оборвали на самом интересном месте.

— Не смейте касаться грязными руками имени, священного для каждого советского человека. Ясно?

— Ясно и понятно, — непослушными холодеющими губами вымолвил Аркадий.

— Если бы нам понадобился осведомитель, — сердито сказали ему на прощанье, — мы поискали бы кого-нибудь поумнее. А сейчас идите! И больше не болтать! О том, что вас вызывали сюда, тоже. Идите... товарищ Перельман.

Его назвали уже забытой еврейской фамилией, которую он не без основания мог считать своей девичьей. От этого пахло угрозой. Антисемитским намеком. И Аркадий покинул неласковое учреждение, мелко дрожа и беззвучно шлепая толстыми губами.

В еще большую дрожь его кинуло тогда, когда одна за другой редакции газет стали отказываться от его услуг художника-ретушера. Им позвонили откуда следует.

Худо стало Аркадию — дальше некуда. Жить не на что. Пришлось понемногу

продавать свои вещи. Толкаясь в комиссионных магазинах, он неожиданно обнаружил, что в России большие перемены начались. В еврейских делах. О которых он прежде не задумывался. Да и вообще старался держаться от евреев подальше. С такой фамилией — Полубояров.

Но когда пришла беда, потянуло и его поближе к своим. А свои-то подняли в стране заварушку. Хотят в Израиль. На историческую родину. Надоело им быть гражданами второго сорта в стране, где на всех углах только и кричат о равенстве всех наций. И задали жару правительству: забастовками, голодными и на полный желудок, демонстрациями у того самого здания КГБ, что прежде в страхе обходили за версту. Советская власть, которую ничем не удивишь, удивилась и пустила в ход привычное и всегда верное средство: стала пачками евреев сажать в тюрьму, а кое-кого даже к высшей мере — расстрелу приговорили. И вдруг оказалось, что даже это не помогает. Евреи не унимались. А во всем мире заграничные евреи дружно поддерживали своих советских соплеменников: отпусти, мол, народ мой! И стали отпускать. Тысячами. Из страны, откуда уехать другим до сих пор невысказано. Только евреи добились такой привилегии. К немалой зависти остальных ста наций из дружной семьи советских народов. Даже ярые антисемиты зашлись от зависти и, изнемогая от желания уехать к чертовой матери из матушки-России, стали внимательно рассматривать в зеркале свои курносые физиономии в надежде обнаружить в них хоть какие-то семитские черты. Смешанные браки снова, как и когда-то после революции, стали модными. Поговорка на Руси появилась: еврейская жена или муж не предмет роскоши, а средство передвижения. То есть с ней или с ним — выезд за границу обеспечен.

И Аркадию тоже остро, до коликов в животе, захотелось уехать. За границу. Куда глаза глядят: Лишь бы подальше от этой страны. Но, конечно, не в Израиль. Какой из него еврей? Да еще с такой русской фамилией. Лучше всего в Америку. Самую богатую и свободную страну на земле. Там нет КГБ и евреев, по слухам, не обижают, а даже наоборот — они там живут припеваючи. Без страха, что кто-нибудь заглянет в паспорт, где жжет глаза графа о национальности, и покрутит носом: в ваших, мол, услугах, извините, не нуждаемся. Там, в Америке, и паспортов-то нет. Живи как птичка. На воле.

Что необходимо еврею, чтобы навсегда распрощаться с СССР? Терпение. И вызов из Израиля. От родственников. Любых. Даже несуществующих. Потому что все евреи родственники. По несчастьям. Советская власть на эту откровенную липу смотрит сквозь пальцы. Важно, чтобы формальность была соблюдена.

А как затребовать такой вызов из Израиля? Надо попросить какого-нибудь счастливицу, у которого в кармане имеется билет в Израиль, чтобы там сказал, где следует, что, мол, такой-то и такой-то, стопроцентный еврей, просится на историческую родину и лет ему столько-то и родился он там-то и там-то. Только и всего. Дальше машина заработает сама. А уж выскочив за границу, не обязательно ехать в Израиль. Можно спокойно податься и в Америку. Через Рим. Мировое еврейство покряхтит-покряхтит и покроет все расходы и без особой радости, но все же примет тебя в свои объятия в Нью-Йорке.

Аркадий кинулся к евреям. Чтобы помогли вызов из Израиля организовать. А евреи от него — врассыпную. Осведомитель, мол. Специально подослало КГБ. Аркадий чуть не в слезах клянется, что это все выдумки, пустой треп. Сам на себя наговаривал по глупости. А ему не верят. Стараются держаться подальше.

Ох и побегал он по Москве. Как затравленный пес. Один-одинешенек. Никому не нужный. Ни русским, ни евреям. Еврей с русской фамилией Полубояров. И с незавидной репутацией осведомителя, которая отпугивает людей посильней, чем самая нехорошая и заразная болезнь.

Сжалился кто-то над ним, а может быть, слухи до него не дошли, и взял он у Аркадия его паспортные данные и пообещал сделать вызов.

Теперь оставалось только ждать. Терпеливо. Не высовывая носа. А то ведь советская власть время от времени все же сажала в тюрьму парочку-другую особо беспокойных евреев, чтобы других держать в узде. И Аркадию такая перспектива никак не улыбалась. Себя он никогда не причислял к особо храбрым. Тем более зачем дразнить гусей в такой ответственный момент твоей жизни, когда ты имеешь реальный шанс вырваться из мира строящегося коммунизма в такой заманчивый мир загнивающего капитализма.

Пусть другие бездумно рискуют горячей головой, произносят красивые возвышенные слова, а потом, попав за решетку, гордо и печально смотрят на весь мир с плохо отретушированных портретов на страницах мировой прессы.

Аркадия занимало совсем иное: как он будет жить там, в Америке? На какие шиши? Хотя бы первое время, пока научится сносно лопотать по-английски, и акулы капитализма оценят его талант и высокую квалификацию портретного ретушера.

С собой он из России может вывезти лишь дырку от бублика и от жилетки рукава. Таможня не пропускает ценности, да их у него и не было в помине. С немалым удивлением Аркадий вдруг обнаружил, что он за свою трудовую жизнь ничего не нажил, что представляло бы хоть какую-нибудь ценность. И денег не скопил ни гроша. А человеку перевалило уже за пятьдесят. И вкалывал он как вол, прихватывая заказы сразу в нескольких местах. И что толку? Трухлявая и потертая мебель, которую не возьмет и старьевщик, да пара изрядно поношенных и уже вышедших из моды костюмов — вот и все.

Единственной ценностью у него была перспектива получить визу на выезд. За одинокими неженатыми обладателями такой визы в Москве охотились нееврейские дамочки, мечтавшие сбежать из страны Советов и готовые не покуситься ради фиктивного брака, чего было достаточно, чтобы быть вписанным в визу к своему фиктивному мужу, и вместе лететь до Вены или Рима. Там будет произведен расчет, как условились, и они дружелюбно разъедутся в разные стороны. Как говорится в России, стукнувшись задом об зад-кто дальше прыгнет.

Аркадий воспламенился и стал подыскивать себе невесту на выезд. Конечно, такую, чтобы была в состоянии вознаградить его услуги. И притом хорошо. Невеста не заставила себя долго ждать.

Аркадия свели с пышнотелой и эффектной дамочкой лет на двадцать моложе его. Ее даже можно назвать красивой, но красота эта была вульгарной. И немножко жутковатой. У нее были не совсем пристойные манеры, от которых пахло большим стажем уголовной жизни.

Короче говоря, Алла, по крайней мере под этим именем она значилась в паспорте, была из тех птичек, с которых советская милиция глаз не спускала и часто прятала за решетку, пока их компаньонам не удавалось собрать достаточно денег для выкупа.

Она ворочала большими и нелегальными деньгами, и ее бизнес, выражаясь по-английски, в основном сводился к переправке за границу старинных русских икон и редких уникальных драгоценностей. Через иностранных дипломатов и журналистов, получавших, свою долю от чистой прибыли. Опасный, рискованный бизнес. За который можно было сесть в тюрьму на всю жизнь и даже схлопотать смертную казнь по строгим советским законам. Но зато этот бизнес сулил большие доходы. Суммы выражались в цифрах со множеством нулей.

Сватовство было коротким и деловым. Условия следующие. Аркадий идет с Аллой в ЗАГС, где они сочетаются браком. До получения визы Алла с маленькой дочерью, нажитой неизвестно от кого, поселяется у него, дабы не вызвать у властей сомнения в действительности этого брака. Разумеется, спят они отдельно, и по ночам Аркадий не будет претендовать на свои супружеские права. За все это Алла обязуется взять его на свое содержание до самого отъезда, оплатить стоимость билета до Рима, где он перейдет на содержание к мировому еврейству, и там же в Риме вручить ему в качестве вознаграждения две тысячи американских долларов наличными. И расстаться навсегда.

Аркадий принял эти условия без лишних разговоров.

Алла вышла с ним из ЗАГСа законной супругой. Полубояровой по мужу. Даже свою маленькую дочь она тоже переписала на эту фамилию. Аркадий формально удочерил ее.

Таким образом, у покойного Алеши Полубоярова появились новые наследники, и в том числе крохотная девочка, которая уж точно никогда не догадается, от кого пошла фамилия, которую ей предстояло носить, по крайней мере до замужества.

И тогда Аркадий познал доподлинно, почему фунт лиха, и вспоминал свою прежнюю жизнь, до фиктивной женитьбы, как райское, сказочное время.

Аркадий жил на Чистых прудах в маленькой однокомнатной квартирке с отдельной кухонькой, выгороженной в углу, и с ванной и туалетом, которые он делил с двумя семьями соседей.

В его комнате было одно спальное место: широкий диван, на ночь раскидывавшийся. Алла с дочерью, не спросив Аркадия, заняли диван, и ему ничего другого не оставалось, как каждую ночь вытаскивать из шкафа походную кровать-раскладушку, которую он держал для застрявших поздно гостей, и вытягиваться на ее жестком парусиновом ложе без матраса, чтобы долго ворочаться с непривычки, пока не одолеет тревожный сон.

А сны были воистину тревожными. Алла была сочной аппетитной женщиной и вела себя при нем, как будто он был мебелью, а не мужчиной. Раздевалась она, не выключая света и даже не утруждая себя повернуться к нему спиной. Раздевалась догола, и любовалась собой в зеркале, и мазалась кремами, и натирала все части тела духами, отчего у бедного Аркадия начиналось головокружение.

Однажды он не выдержал и, подкравшись к ней сзади, обхватил обеими руками, сплющив ладонями ее груди. Алла потрянула его с себя, больно стукнув локтем в переносицу, отчего у него засиял вокруг левого глаза фиолетовый кровоподтек. И не успел этот кровоподтек рассосаться, как возник другой, у правого глаза, и еще один, с багровым отливом на левой скуле.

Их посадил ему любовник Аллы, кавказского вида человек, которому она пожаловалась на хамское поведение Аркадия.

Этот человек был партнером Аллы в бизнесе и, когда наезжал с Кавказа, предпочитал останавливаться не в гостинице, а у Аллы, деля с ней ложе, и, неумоимо подгоняемый коньячными парами, предаваться на этом ложе любви. Сонную девочку в этих случаях Алла относила к Аркадию на раскладушку и возвращалась в объятия к своему любовнику.

Ночи превратились для Аркадия в кошмары. Но и дни не приносили покоя. Потеряв работу, он жил на содержании у Аллы и отработывал это содержание как кухарка, нянька для ребенка и мальчик на побегушках. Алла давала ему денег на расходы, и он с сумками толкался среди женщин в длинных очередях в продуктовых магазинах, потом готовил на крохотной плитке супы и всякие рагу, их заказывала Алла для себя и ребенка, и сам ел с ними за одним столом.

Удостаивала его вниманием лишь одна особа — крохотная дочь Аллы, привязавшаяся к нему, как к няньке. Аркадий за ручку прогуливал ее в соседнем чашом скверике, где бабушки и деревенские няньки сидели с детьми на всех скамьях и о нем, единственном мужчине с ребенком, судачили одобрительно и не без зависти к чужому счастью.

Он часто и подолгу гулял с девочкой не только потому, что ребенку полезно бывать на свежем воздухе. Его квартиру компаньоны Аллы облюбовали для тайных встреч: там совершались сделки, разрабатывались коммерческие операции, за которые можно было угодить за решетку на добрый десяток лет. Владельцу квартиры полагалось не меньше за укрывательство — пойдя докажи, что ты ничего не знал и не ведал. Его бесцеремонно выставляли из собственной комнаты на улицу и, чтобы нескучно было, давали ребенка в придачу, мол, гуляй, дыши свежим воздухом, угощайся мороженым и орехами, расходы будут возмещены.

Аркадий до того был подавлен страхом, что все раскроется и он вслед за Аллой ни за что ни про что сядет в тюрьму, что, когда получил заграничную визу, рыдал от счастья, и радость его перемежалась с жутким предчувствием, что власти еще раздумают, отберут визу и вместо Вены он поедет в Сибирь.

На сборы им дали две недели. Аркадий чуть не на коленях умолил Аллу поторопиться, и они вылетели из Москвы через два дня.

Только в Вене, уже за границей, Аркадий перевел дух. Взгляд его тусклый, как у дохлой рыбы, снова прояснился. Улыбка заиграла на толстых вялых губах. Тут он никого не боялся. Даже Аллы. Срок их контракта истек. Брачным свидетельством, выданным в Советском Союзе, здесь можно было зад подтереть. Они с Аллой так не поступили. Аркадий считал себя интеллигентным человеком, а она себя-деловым. Поэтому бумажка была изорвана многократно, и мелкие обрывки спущены с водой в унитаз туалета. Римского. Потому что из Вены они попали в Рим. Здесь Аркадию предстояло дожидаться выезда в Америку, а Алла планировала остаться в Европе. Их пути окончательно расходились. Нужно было лишь завершить последнюю формальность: получить с Аллы обещанные две тысячи долларов, из-за которых он принял на себя столько неприятностей, и забыть ее, как кошмарный сон.

Развязаться с Аллой долго не удавалось. Выплату денег она каждый раз переносила

на новый срок и этим держала Аркадия на привязи. Алла развернула в Риме кипучую деятельность: собирала высланный нелегально товар, взимала долги. И снова вокруг нее увивались мужчины южного типа, но уже не кавказцы, а итальянцы, а Аркадий гулял с девочкой, пока мама была занята, по римским улицам и площадям и пояснял ребенку, что они видят перед собой, вспоминая запавшие в голову еще со школьных времен сведения из истории древнего мира.

Наконец, у Аркадия истощилось терпение.

Улучив момент, когда они остались с Аллой вдвоем, Аркадий потребовал расчета, а не то...

— А не то? Что ты мне сделаешь? — насмешливо прищурила на него свои густо подведенные серые глаза Алла.

— Сделаю, — дернул губами Аркадий.

— Ничего ты не сделаешь, губошлеп. За такие слова тебя бы следовало прогнать, не дав ни копейки, но я добрая, отходчивая.

Алла денег не дала, а великодушно согласилась покрыть свой долг товаром. Она показала ему русскую икону — большую, в трещинах темную доску с полуоблупленным ликом Христа. Икона пришла из Москвы, завернутая в газеты «Правда» и «Известия», их использовали для упаковки, и на одной из страниц был портрет Брежнева, того самого, кому-когда это было? — Аркадий Полубояров открыл глаза.

— Возьми эту икону и продай. Цена ей больше двух тысяч долларов. Поторгуешься — и три тысячи выбьешь. Бери и знай мою доброту.

Я этого не видел. Но один мой знакомый клялся, что был свидетелем вот какой картины. По Риму, в страшную жару, толкаясь на тесных и потных тротуарах, двигалась странная фигура, на которую недоуменно оглядывались прохожие. Немолодой еврей с печальными глазами, вислым носом и вялыми мягкими губами, истекая потом и прикрыв от солнца голову носовым платком, тащил на спине тяжелую доску с намалеванным на ней изображением Христа. Обрывки упаковки свисали ключьями газетной бумаги с краев иконы, и с одного из ключев строго и недовольно смотрел на итальянцев советский лидер Брежнев.

Аркадий таскал икону по всему Риму, из конца в конец, переводя дух в антикварных лавках. Там он показывал товар и на жуткой смеси русского языка с итальянским и несколькими словами на идише пытался объяснить. Ему не давали трех тысяч долларов, которые посулила ему Алла, и не дали и двух тысяч, которые она ему была должна. С невероятным трудом ему удалось получить за икону пятьсот долларов, и он был счастлив не только потому, что получил хоть какие-то деньги, а из-за того, что больше не надо было таскать на спине эту тяжесть, стирая кожу до крови и наживая себе нарывы на лопатках.

А главная радость была от того, что связь с Аллой порвалась окончательно, он стал свободным человеком, неженатым и никого не боящимся. Он вернулся к своему былому амплу «холостяка» и «завидного жениха», и на его толстых губах снова заиграли блудливая ухмылочка, какая всегда возникала у него при встрече с женщинами не старше, скажем, сорока лет.

В Риме можно было, наконец, одеться по-человечески. Джинсы, настоящие американские джинсы, синие, с блеклыми подпалинами на коленях и задку, за которые в Москве надо было отдать состояние, чтобы получить их из-под полы, на черном рынке, здесь продавались на каждом углу и совсем по дешевке. Но пусть в джинсы облачаются одесские и киевские мальчишки. Аркадий Полубояров, москвич, интеллигент, зрелый мужчина с тонким и разборчивым вкусом, оделся самым изысканным образом: замшевый пиджак с кожаными пуговицами — он всю жизнь мечтал о таком, туфли-мокасины, мягкие и легкие, как перчатки, фуляровый платок на шее, в расстегнутом апаш вороте рубашки (35% хлопка, 65% полистирол, не мнется, в глажке не нуждается). Голова блестела бриллиантом, в тонких черных усиках, отращенных уже за границей, проглядывали редкие нити благородной седины. В Москве он курил сигареты, а в Риме — толстую коричневую сигару. Сигару он не курил: сразу начинается удушающий кашель, а также и по той причине, что курение сигар разорило бы дотла. Поэтому у него была одна-единственная сигара — толстая, темно-коричневая, с обкуренным концом. И никогда не дымившая. Погасшая. Он носил ее, как носят галстук, небрежно зажав толстыми губами и стараясь не заслонявить. А то сигара раскиснет, рассыплется, придется разориться на новую.

Сигара была ему к лицу. С нею в зубах он походил на латиноамериканца. Этакое бизнесмена из Рио-де-Жанейро, заскочившего в Европу поразвлечься, а заодно и подписать парочку контрактов на поставку, скажем, кофе.

В ожидании визы в Америку Аркадий фланировал по римским улицам. Его видели на виа Венетто, на вилле Боргезе. Он толкался среди паломников на площади перед добором Святого Петра, оценивающе щурился на проституток на Пьяцца-дель-Пополо. Только лишь щурился. Проститутки в Риме были совсем недороги. Но барахло в магазинах еще дешевле. И надо быть сумасшедшим, чтобы отдать за сомнительное удовольствие, причем за один раз, стоимость пары приличной обуви. Уж лучше заняться онанизмом. Не истратишь ни одной лиры, и полная гарантия от венерических болезней. Среди эмигрантов из России, которые заполнили Рим в такой степени, что вслух заматериться на улице опасно — обязательно рядом окажется женщина, которая скорчит кислую или негодующую гримасу, найти себе бесплатную сожительницу, чтоб на равных началах: ты — мне, я — тебе, удовлетворить взаимно половые потребности, Аркадию тоже не посчастливилось. Хоть одиноких евреек, правда с детьми, которые оставили на родине своих русских мужей, кругом было полно, но войти с ними в близкий контакт, завершающийся постелью, ему не удавалось.

Его сторонились и женщины и мужчины. Так что, будь он даже гомосексуалистом, шансы на успех все равно равнялись нулю. А избегали его бывшие соотечественники по той же причине, что и в Москве. За длинный язык, который уже однажды доставил ему много хлопот.

В компании эмигрантов, чтобы как-то выделиться, обратить на себя внимание, он стал напускать на себя томную загадочность, намекая на то, что он знает кое-что, о чем не каждому дано знать. А что бы хотели знать русские евреи, томящиеся, как на горячей сковородке, в Риме, без твердой уверенности, что их впустят в благословенную Америку? По русско-еврейскому Риму носились слухи, что бывших коммунистов на пушечный выстрел не подпускают к Америке. И комсомольцев. А ведь почти каждый в России торчал в комсомоле, пока седина не ударяла в бороду.

Людей с психическими отклонениями, то есть попросту малохольных, отправляли в Израиль. И только туда. Никто больше не хотел принимать. Пусть, мол, резвятся на исторической родине, среди своего брата еврея.

Аркадий намекнул, что он на короткой ноге кое с кем из американцев.

— Из посольства?

— Мелкая шушера, — пожимал плечами Аркадий. — Есть кое-кто поважнее. Из тех, кто не любят афишироваться. Им это ни к чему. Но решают они. И только они.

Людям нетрудно было догадаться, кого имел в виду Аркадий. У него рука в Си-Ай-Эй. Он на короткой ноге с американской разведкой. И контрразведкой тоже. Лучше при нем держать язык за зубами. Возможно, ему даже и платят за то, что всякие сведения приносит. Вынюхает, кто что скрывает в своем прошлом, и — туда. Хау ду ю ду? Принимайте отчет! Известно, на какие денежки он ходит, в замше и раскуривает дорогие сигары.

Как и в Москве, в Риме тоже образовался вокруг Аркадия вакуум. Русские евреи его избегали. И мужчины. И женщины. Так что спал он как монах и только облизывался на проституток, а по ночам ему снились кошмары на сексуальной почве.

Но добро бы только этим все и ограничилось. Судьба не знала милосердия к Аркадию.

Одному одесскому мяснику с Привоза американцы отказали из-за того, что скрыл такой немаловажный факт своей биографии, как пребывание в рядах славной партии коммунистов. Нашли коммуниста! Ворюга! С уголовной рожей. И бандитскими замашками. Ему партийный билет как ширма, чтоб за ней свои дела крутить и этим самым подрывать экономику СССР. Он этот коммунизм видел в гробу в белых тапочках. В Америке он будет как рыба в воде. Гангстер лучшей пробы! Любая мафия не побрезгует пополнить им свои ряды.

Нет! Коммунист! Скрыл! Отказать! Одесского мясника наконец согласилась впустить Канада, и он, успокоившись, на досуге стал прикидывать, кто это его заложил американцам. Кому было известно, что он имел несчастье числиться в России в коммунистах? В его памяти всплыла потасканная рожа Аркадия, который на короткой ноге с американцами, и поэтому мясник с ним советовался о своей беде. Осведомитель! Стукач! Ему открыли душу, а он, фрайер, несет в Си-Ай-Эй!

Когда Аркадий ночью безмятежно поднимался по истертým ступеням знаменитой лестницы на площади Испании, известной ему по давно виденному фильму «Девушки с площади Испании», кто-то кулаком, тяжелым, как молот, стукнул его по макушке, и он полетел вниз, считая носом ступени, одну за другой, десятую и двадцатую, пока не затормозил в самом низу, уткнувшись бесчувственным теменем в бортик фонтана, не менее знаменитого, чем лестница.

Он очнулся от утренней прохлады, и поначалу ему показалось, что это не наяву, а он смотрит фильм «Девушки с площади Испании». Тем более что по лестнице сбегали вниз, хохоча, точно такие же, как в фильме, девицы. Но, завидев распростертого на земле немолодого джентльмена, они бросились врассыпную, и это окончательно вернуло его к реальности. Он смочил голову водой из фонтана, смыл с носа и подбородка запекшуюся кровь. А вот сигары не нашел. Искрошилась и рассыпалась в прах, когда он катился по ступеням. Пришлось потратиться на новую сигару, обкурить

ее и, погасшую водрузить на прежнее место, в угол рта.

Недолго торчала в его губах и эта сигара. Аркадий ее тоже потерял. И уж другой не покупал. И денег не было, да и ему стало не до того.

А произошло это таким образом.

Наконец, после томительного ожидания, его, как и всех других эмигрантов, вызвали в консульство на беседу. Аркадий явился туда при полном параде, почистив замшевый пиджак, надраив бархоткой туфли, выстирав фуляровый платок и повязав его пышным бантом на шее. Обкуренная сигара, как короткоствольная пушка, сидела в его запекшихся от волнения губах.

Его провели в маленькую комнатку, где стоял сейф и письменный стол. А за столом сидел американец с таким же, как у Аркадия, еврейским носом и заговорил с ним по-русски, с каким-то непривычным акцентом. Не нужно было быть большим умником, чтобы догадаться, кто таков этот малый. Офицер Си-Ай-Эй. А кто еще в Америке разговаривает по-русски, скромно сидит в самой дальней и самой крохотной комнатке консульства? Даже трехлетний ребенок, аккуратный зритель советского телевидения, не станет долго ломать себе голову.

Он улыбался. И Аркадий улыбался.

Он вежливо осведомился, почему Аркадий не пожелал поехать на историческую родину евреев, в государство Израиль, а предпочитает ехать в Америку. И Аркадий также вежливо осведомился, почему он с такой еврейской физиономией предпочитает оставаться под американским флагом, а не отдать свой талант разведчика своему народу в государстве Израиль.

Американец перестал улыбаться, а Аркадий не перестал. Улыбка приклеилась к его толстым воспаленным губам и даже не исчезла, когда ему было сказано конфиденциально :

— По имеющимся у нас сведениям вы, Аркадий Полубояров, служили в советской секретной полиции КГБ в качестве осведомителя.

Аркадий все еще улыбался, выпятив навстречу американцу свою сигару, и американец перегнулся через стол, щелкнул зажигалкой, поднес огонек к обкуренному концу сигары. Аркадий втянул вместе с воздухом едкий дым, задохнулся, зашелся кашлем и выплюнул вонючую сигару в услужливо подставленную американцем пепельницу.

Аркадию отказали во въезде в Америку. И он, с одеревеневшей кожей не только на лице, но и на всем теле, покинул консульство, забыв в пепельнице свою сигару.

Новую покупать уже не стал. И когда его, ошалевшего от свалившихся бед, встречали на улицах Рима те, что видели его прежде, то им казалось, что без сигары он выглядит каким-то полуодетым, словно выскочил из дома, забыв очень важную часть своего туалета.

Это был конец. С таким жутким пятном в личном деле ни одна приличная страна его не примет. Даже Красный Китай. Его длинный болтливый язык, обер— нувшись вокруг непутевой головы, вонзил ядовитое жало в собственный затылок, как это бывает не у людей, а только у пауков, обитающих в пустыне Каракум и называемых тарантул.

Спасение пришло с самой неожиданной стороны.

Бывшая фиктивная жена Аркадия Алла, ухитрившись стать итальянской гражданкой и развернувшая свой бизнес в Милане, узнав о его беде и не на шутку испугавшись, что он, не дай Бог, застрянет в Италии и будет висеть на ее шее, пустила в ход все свои чары и таланты и заставила капитулировать американское консульство. Она сумела убедить Си-Ай-Эй, что он, Аркадий Полубояров, никогда не был агентом КГБ, а просто-напросто-шут гороховый с длинным языком. Как бывшая жена она дала в этом присягу, и ее любовник, итальянский бизнесмен, тоже клятвенно подтвердил его, Аркадия, политическую непорочность.

Казалось, фортуна улыбнулась ему.

Он жил в Нью-Йорке, в плохонькой квартирке в Бруклине, но все же попросторней, чем он имел в Москве. И работу нашел. По профессии. Ретушером в журнале Порнографическом. Платили не Бог весть сколько, но зато какое наслаждение испытывал Аркадий, обрабатывая фотографии с мужскими членами крупным планом и женскими прелестями, развернутыми анфас. Это было куда привлекательней, чем корпеть над сытыми физиономиями советских вождей.

Одно смущало его и отравляло существование. Ему казалось, что Си-Ай-Эй не оставило его без надзора и неусыпно следит за его поведением. В каждом, кто останавливал свой взор на нем, он подозревал агента, ведущего наблюдение. Аркадий каждым своим шагом старался убедить американские власти в своей полной лояльности и везде, и дома и на работе, к месту и не к месту, расхваливал Америку на все лады. Какое-то его высказывание попало даже в газету «Нью-Йорк Тайме», и это привело к событиям, от которых Аркадия сначала бросило в жар, а потом в холод.

Как-то поздно вечером зазвонил телефон, и из трубки донесся хриплый задыхающийся голос. По-русски. Почти без акцента.

— Полубояров? Фамилия точная? Ошибки нет?

Аркадий подумал, что это проверка, длинная рука Си-Ай-Эй, и поспешно подтвердил:

— Я— Полубояров. По всем документам.

— Ах ты, сукин сын, Полубояров! — возликовал голос. — Да мы ж с тобой родня!

— Какая родня? Простите, не понимаю... У меня в Америке нет никакой родни.

— Не было, а сейчас есть! Ты же Полубояров? И я — Полубояров. Я — донской казак. А ты?

— Я? Я... москвич.

— Ну, значит, наша фамилия по всей Руси распространилась. Генерал-то Полубояров тоже из наших. Верно? Небось, встречал?

— Генерала? Да... он, некоторым образом, мой... я бы сказал... дальний... но... родственник.

— Значит, и мой! Мы, Полубояровы, все родственники. Куда бы судьба ни закинула. А корень один — Дон-батюшка. Потомственное казачество. Ясно?

— Ясно!..

— Тебе сколько лет?

— Пятьдесят... с небольшим...

— А мне... угадай? Не допрешь. Под девяносто! Я был есаулом у генерала Мамонтова. Ох, мы большевиков рубали шашками... Пополам... Хрясь! Хрясь! Ты, часом, не большевик? А?

— Нет... Что вы?

Тогда наш! Только вот имя... Аркадий... не наше. Не казацкое. Откуда у тебя, Полубоярова, такое имя?

— Не знаю... Не выбирал имени... Как назвали...

— Большевики все смешали. Ладно. Рад я, что нашел тебя. А то, думал, помру, чужие люди все порастаскают. А я-то кое-чего нажил... Два дома есть... И в банке... Хоть Полубоярову, родственнику оставлю. Ты, того, не мешкай. Приезжай, голубчик, погляжу на тебя. Расцелую твою полубояровскую рожу. И справим документы. Завещание.

Езды было полчаса от Нью-Йорка. За Гудзон. Через мост Вашингтона. Там жило немало русских. Из первой и второй эмиграции. Аркадий числился в третьей. Он, не откладывая, отпросился с работы на день, добрался на метро до моста, а там пересел на автобус. И пока ехал, мягко покачиваясь, по огромному висячему мосту через реку Гудзон, широкую, как Волга, с бардами и парусными лодками далеко внизу, прикидывал в уме, как он распорядится свалившимся с неба наследством, где откроет свой собственный офис, в какой части Манхэттена снимет квартиру и как начнет играть на бирже, потому что только на бирже, как он понимал, можно без труда сделать из одного доллара два, из миллиона — десять миллионов. И вот тогда он будет настоящим, полноценным американцем. И съездит в Европу развлечься. И снова пройдет по Риму. Но как! Во рту у него не будет той потухшей сигары. Он будет дымить, как паровоз. Что ему сигары? Мелочь. Шикарный отель! В ресторанах сам метрдотель подносит меню. А уж женщины... Отборные... Не старше двадцати пяти лет! Синьор, синьор... А, идите вы все к... На денежки мои польстились! Вы меня любите... мою душу.

От этих приятных размышлений отвлекала тревожная мыслишка, то и дело впивавшаяся в мозг:

— Не пройдет номер. Есаул Полубояров с первого взгляда определит, что никакой Аркадий ему не родственник. С его, Аркадия, еврейским носом...

Но он тут же, как комара, отгонял эту мысль.

— Есаулу девяносто лет. Ни черта не различит... какие бы очки ни надевал.

Еще собираясь в поездку за наследством, Аркадий не удержался и, хоть не впрямую, а намеком, дал понять кое-кому из своих знакомых, что скоро он будет с такими большими деньгами, какие им и не снились. Похвастался явно раньше времени и не на пользу себе.

Есаул Полубояров, с седой гривой и красным, как кирпич, лицом, ходил опираясь на тяжелую палку, а очков не носил. Зрение у него было не по годам отличным. Казачья порода.

Он принял Аркадия в своем большом, как поместье, двухэтажном доме, где он жил один, с черной старухой служанкой. К приезду Аркадия был накрыт стол и посреди тарелок с яствами красовались, чуть повыше — бутылка «Столичной» и чуть пониже — бутылка с украинской горилкой. Есаул был не дурак выпить.

— И грибы, и капуста, и огурчики — свои, домашнего приготовления, — похвалялся есаул. — Я американской еды даром не возьму.

А выпив по первой, а потом по второй, он устался на Аркадия своими выпуклыми, в кровавых прожилках, рачьими глазами.

— А теперь скажи, друг ситный, зачем меня обманул?

— Как? — подавился соленым огурчиком Аркадий. — Я? Обманул?.. Вы шутите.

— Кто ты, скажи? Что жид, вижу сам. А почему Полубояров, объясни.

И Аркадий, заикаясь и косясь на тяжелую палку в руках есаула, чистосердечно рассказал, каким путем ему досталась эта фамилия и что его... девичья... то есть, пардон, настоящая фамилия... Перельман.

— Вон! — коротко сказал есаул Полубояров.

— А-а... завещание?

— Вот тебе завещание!

Старик огрел его палкой по плечу, рыча и брызгая слюной.

— Вон! Жидовская морда! Змея! Гаденыш! Большевик!

Рев разбушевавшегося есаула Аркадий слышал всю дорогу, пока бежал вприпрыжку к остановке автобуса, забыв вытереть рот, и полоска соленой капусты болталась на усах. Плечо саднило немилосердно.

Через три дня в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилось в черной рамке с православным крестом в углу траурное объявление о том, что скончался есаул Иван Данилович Полубояров и где состоится панихида.

Аркадий, прочитав это объявление, опечалился. Все же жаль было старика. Хоть он и антисемит. А также его двух домов и денег в банке, что достанутся неизвестно кому.

А еще через три дня к Аркадию пришли два американца в штатском, предъявили удостоверения Си-Ай-Эй и долго и нудно допрашивали насчет больших сумм денег, которые он ожидает получить. Не из советской ли миссии? И где назначена встреча для передачи денег?

Тут он не выдержал. Зарыдал в голос. Да так горь— ко, что даже у сухих американцев выжало по одной слезе.

Они извинились и ушли, пообещав прийти в другой раз, когда он будет в состоянии отвечать на вопросы.

МУЖ ГРАФИНИ

Вам доводилось знать еврея с титулом графа? Настоящим титулом. Не фиктивным. Пожалованным его предку королем или императором за большие услуги, оказанные

царствующему дому?

Мне лично не привелось такого встретить. Хотя всем известно, что еврею Дизраэли, премьер-министру Англии, королева Виктория пожаловала высокий титул, и он стал именоваться лорд Биконсфильд. Я сам знал в Лондоне одного литовского еврея, которого нынешняя королева Елизавета сделала лордом, и с тех пор к нему надо было обращаться только так: сэр Джозеф, хотя в узком семейном кругу его называли по-старому, на идише — Йоселе.

Наконец, есть еврей-бароны. Скажем, барон Ротшильд. Вы будете смеяться, но с одним бароном из этой небедствующей еврейской семейки, а именно с Эдмоном Ротшильдом, моим сверстником и весьма славным малым, я сидел за одним столом в его парижской резиденции на улице ду-Фобур-Сант-Оноре и в разговоре (через переводчика, конечно, потому что он не понимал по-русски, а я не вязал лыка по-французски) подпустил ему едкую шпильку, и он за словом в карман не полез и весьма изящно ее парировал.

Был душный день, и распахнутые окна в большом кабинете барона не приносили прохлады. Эдмон Ротшильд и еще два банкира, присутствовавшие при этой исторической для меня встрече (ибо какой еврей не мечтал в своих самых радужных грезах поглядеть хоть одним глазком на живого Ротшильда-самого богатого еврея на земле?), отчаянно потели и то и дело вытирали платками багровые лица и шеи.

Один лишь я не пользовался платком. Не потому, что у меня его не было. Я не потел. У меня было сухое лицо. И даже под мышками не ощущалось скопления влаги.

Что ж это такое получается? — удивился барон. — Мы все потеем. А он — абсолютно сухой.

— А вот так, — ответил я. — Я не потею — и все. Это — врожденное качество, и его ни за какие деньги не купишь.

Я, как вы догадываетесь, тонко намекнул на финансовую пропасть, которая разделяла меня, с жалкой сотней-другой в кармане, чем исчерпывалось все, что я имел, и его — одного из самых богатых людей на земле.

Барон оценил мою язвительность. Вслед за ним заулыбались, закивали потными головами его компаньоны — банкиры. Он встал из-за стола, подошел ко мне, обнял за плечи (не похлопал по плечам, а обнял) и сказал с грустью во взгляде:

— Дорогой мой, в мире имеются тысячи вещей, которые не купишь за деньги. Я это знаю... Возможно, и ты когда-нибудь с этим столкнешься...

Ух, как у меня заныло под ложечкой, что рядом нет никого из моих прежних знакомых, которые могли бы засвидетельствовать, как меня обнимает барон Ротшильд и при этом жалуется на судьбу, не всегда милостивую даже к миллиардеру. И в первую очередь мне бы хотелось, чтобы все это лицезрел мой бывший московский сосед Наум Крацер, с которым мы нередко переругивались по утрам, когда и он и я норовили первыми проскочить в единственный туалет — общий для всего поголовья нашей коммунальной квартиры, в каждой из пяти комнат которой плотно умещалось по одной семье.

А хотелось мне, чтобы в кабинет барона Ротшильда на фешенебельной парижской улице ду-Фобур-Сант-Оноре вошел мой бывший сосед Наум Крацер по той причине,

что этот самый Крацер имел больше оснований пребывать в объятиях барона, чем я. Потому что Крацер был граф.

— Еврей — граф? — ехидно пожмете плечами вы. — Да еще в советской Москве? Глупее ничего не могли придумать?

Не смог. Потому что я не придумываю, а рассказываю, как оно было в жизни. А жизнь, как известно, богаче фантазии.

Я допустил неточность лишь в одном. Наум Крацер, конечно, не был подлинным графом. Он был мужем графини. Чистопородной русской аристократки, отпрыска одной из самых знаменитых дворянских фамилий государства Российского. Ее то ли дед, то ли прадед был тот самый фельдмаршал Кутузов, одноглазый портрет которого вплоть до наших дней знаком каждому школьнику, граф Голенищев-Кутузов, под чьим командованием русские войска разбили в 1812 году французского императора Наполеона Бонапарта.

Как мог случиться такой мезальянс? Если б я сказал, что местечковый полуграмотный еврей женился на такой родовитой графине до революции 1917 года, то вы могли бы мне плюнуть в глаза и поступили бы абсолютно справедливо. Но дело-то в том, что эта женитьба состоялась после революции. Ясно? То-то.

Молоденькая графиня Голенищева-Кутузова, непонятно каким чудом уцелевшая в гражданскую войну, потеряв, естественно, все, что имела: и имения, и фамильные ценности, и деньги до последней копейки, ютилась в Москве у своей бывшей няньки, ходила в старой ветхой одежде, по-крестьянски повязав голову платком, и, как вся Москва, пухла от голода и замерзала зимой в неотапливаемой комнатке. Революция лишила ее не только имущества, но и всех прав, положенных гражданину. Таких, как она, называли «лишенцами», т. е. лишенными всех прав, кроме, пожалуй, одного права — трястись от страха перед рабоче-крестьянской властью и ждать с замиранием сердца, когда ночью явятся чекисты в кожаных куртках и уведут из дому насовсем.

Но, лишив прав одних, революция наделила правами других, кто прежде был обделен. Рабоче-крестьянское происхождение стало лучшим пропуском по пути вверх. И к этому пропуску потянулись тысячи рук, мозолистых, не привыкших держать пальцами перо.

Из нищего украинского местечка добрался на крышах вагонов до Москвы молодой еврей Наум Крацер. Он с детства вместо школы ходил в учениках столяра, пилил и строгал доски и брусья, заливал пазы столярным клеем, вгонял гвоздь по самую шляпку одним ударом молотка и, не случись революции, до конца своих дней зарабатывал бы на жизнь этим ремеслом и дальше соседнего местечка не знал бы, как выглядит мир, он жил в черте оседлости, откуда еврею было законом запрещено выезжать, а уж о Москве и Петербурге не приходилось и мечтать.

В голодной Москве Крацер, едва умевший вывести на бумаге свою фамилию, решил штурмовать науку. Для таких, как он, рабоче-крестьянская власть создала рабфаки, рабочие факультеты, где они проходили ускоренный курс за всю гимназию, чтобы подготовиться к экзаменам в университет.

Вот на этом-то рабфаке и скрестились пути местечкового еврея Крацера и графини Голенищевой-Кутузовой. Он, неуклюжий и малограмотный, был там студентом, а она, образованная и прекрасно воспитанная, работала уборщицей, своими нежными

ручками смывала с холодных каменных полов густую грязь, нанесенную сапогами и лаптями жаждущего знаний пролетариата.

В ту раннюю пору советской власти нравы были пуританскими и крутыми. Влюбленность, поцелуи, вздохи при луне причислялись к буржуазным пережиткам и подвергались публичному осмеянию. А связь с человеком из разгромленного революцией класса эксплуататоров считалась страшным грехом и изменой своему рабоче-крестьянскому классу.

Студент рабочего факультета Наум Крацер воспылил страстью к худенькой бледнолицей уборщице. И когда под строгим секретом она призналась ему, что она — бывшая графиня и ему никак не стоит с ней связываться, он, вместо того чтоб отступить, воспылил еще большей страстью.

У Наума Крацера закружилась голова. Подумать только: у него есть шанс стать мужем графини. Десятки поколений его предков, презираемых и преследуемых евреев, покоящихся на местечковом кладбище в бывшей черте оседлости, перевернулись бы в могилах от этой новости и категорически отказались бы поверить, что такое может случиться. Не хотели верить этому и коммунисты — товарищи Наума. Его вызвали в партийный комитет и строго, без церемоний, предупредили, чтоб опомнился и не марал чести пролетария, а не то он горько пожалеет.

Женитьба действительно подорвала карьеру Наума Крацера. В инженеры он выбился. Но дальше не пустили человека с подмоченной пролетарской репутацией.

Он поселился со своей тихой, робкой женой в маленькой комнате нашей большой коммунальной квартиры, и графиня старалась как можно реже появляться на общей кухне, чтоб соседки, прослышавшие о ее родовитом происхождении, не смеялись и не подтрунивали над ней. Зато муж ее не только не стыдился, а где только мог похвалялся своей женой-графиней. И в доме и на службе. Соседи прозвали его «местечковым графом», а на службе сделали организационные выводы и не давали повышения, как бы старательно он ни работал.

И все равно Крацер извлекал немало наслаждения из своей роли мужа графини. Он получал неизмеримое удовольствие от того, что обед ему подавала графиня, и подавала так, словно она — лакей, а он — граф. Когда он натирал мозоли, графиня подносила ему горячую воду в тазу, и он опускал в этот таз свои несвежие пахнущие ноги и блаженствовал, пока она, стоя на коленях, намыливала каждый его пальчик и безопасной бритвой «Жиллетт» срезала с размякшей ступни наросты.

У них родился сын, вылитый еврей, но графский титул матери, как клеймо, омрачал его детство. Во дворе мальчишки часто били его и окрестили прозвищем «графеньш». В те годы в Москве антисемитизм строго преследовался, а классовая ненависть, наоборот, поощрялась. Поэтому мальчика изводили не из-за семитских печальных глаз, а за происхождение по материнской линии от графов Голенищевых-Кутузовых. Наум Крацер выбегал во двор с ремнем в руке и разгонял обидчиков сына, называя их «босяками», «голытьбой» и «хамами». В эти моменты он сам чувствовал себя если не графом, то, по крайней мере, представителем дворянского сословия.

Во вторую мировую войну, когда в России надо было вызвать патриотические чувства, вспомнили великих предков, некогда прославивших русское оружие, и имя фельдмаршала Кутузова замелькало в газетах и на красных транспарантах, и даже был

выпущен ор— ден Кутузова, которым награждали высших офицеров за боевые заслуги, и на этом ордене сиял серебром одноглазый, с повязкой через лоб, профиль дальнего родственника Наума Крацера. Вспомнили и жену Наума, правнучку фельдмаршала, и выдали хороший, по тем голодным годам, персональный продовольственный паек. А когда хватились, что у фельдмаршала имеется праправнук, сын Крацера, потребовали, чтоб он немедленно поменял фамилию отца на мамину и восстановил на благо отчизны славное имя Голенищева-Кутузова. Но опоздали. Сын графини и Крацера успел попасть на фронт рядовым солдатом и очень скоро погиб. В похоронном извещении, полученном родителями, он все еще значился Крацером.

Они оплакали сына, и остались вдвоем.

Но жену Крацера, графиню Голенищеву-Кутузову, уже не оставляли в покое. Ее приглашали в президиум, когда в Москве собирались важные совещания, и докладчики с трибуны каждый раз поворачивались к ней и даже указывали пальцем, когда говорили о патриотизме, любви к Родине и преемственной связи славного прошлого русского народа с еще более славным настоящим. В паспорте она была записана по мужу— Крацер, но этим именем ее не называли. А только девичьем — Голенищева-Кутузова. Потому что к тому времени к евреям стали относиться в Советской России примерно так же, как сразу после революции относились к свергнутому классу, к дворянам и буржуям.

И однажды ее, бывшую графиню, а по мужу — Крацер, вызвали к очень высокому советскому начальству и без обиняков сказали:

— Гоните вы этого еврея к чертовой матери. Вы же-русская. Гордость нашего народа. Зачем вам этот грязный жид?

Графиня побледнела и, ничего не сказав, покинула кабинет, хлопнув дверью.

С тех пор она стала чахнуть и скоро скончалась.

Наум Крацер похоронил ее на еврейском кладбище. И на все деньги, которые он собрал за долгие годы семейной жизни, заказал и поставил на могиле жены мраморный памятник. Проект памятника разработал он сам. Скульптор лишь старательно воплотил в камне его замысел.

На гранитном пьедестале в натуральный человеческий рост сидела в кресле покойная жена Крацера, а сам он, тоже в полный рост, стоял перед ней, опустившись на одно колено, и лобызал протянутую ему руку.

На черном цоколе золотом горели слова:

«Графине Голенищевой-Кутузовой от скорбящего мужа Наума Крацера».

Этот необычный для еврейского кладбища памятник и по сей день стоит среди каменных плит с древнееврейскими надписями и шестиконечными звездами Давида под Москвой, в Востряково.

А гипсовая модель его в натуральную величину много лет стояла в нашей коммунальной квартире, совсем загромоздив и без того тесную комнату Наума Крацера. Он так и жил в этой комнате вдвоем с памятником. Гости к нему перестали приходить. Даже соседи испытывали неловкость, заглянув в приоткрытую дверь: то ли музей, то ли часовня.

Потом умер и он. Муж графини. Где он похоронен, я не знаю. В его комнате

поселились новые жильцы, и куда они выставили громадную гипсовую модель надгробия, я тоже не знаю.

Зато евреи, приезжающие на кладбище в Востряково по разным невеселым делам — или хоронить родных, или навестить могилу, — сначала с недоумением, а потом с почтением останавливаются перед мраморным памятником и с уважением повторяют имя Наума Крацера, ничем не выдающегося еврея, которого будут помнить, пока стоит это кладбище. Потому что он умудрился достигнуть недостижимого и навечно утвердить себя в камне как мужа графини.

ПРАВЕДНИК

В Иерусалиме солнце горное. Не изнурительное. Даже в летний полдень. Сухо. И очень-очень тепло. В Иерусалиме даже приезжий не потеет и не устает от жары.

Музей Яд вашем стоит на вершине горы, над Иерусалимом. Это — мемориал в память о жертвах Катастрофы европейского еврейства.

64 Даже в самую сильную жару сюда тянутся люди. Экскурсанты и туристы. Со всего мира. И среди них много неевреев.

В черных лимузинах поднимаются по спиральному шоссе среди пыльных кипарисов и сосен правительственные делегации разных стран. Посещение музея Яд вашем-непременная часть программы их пребывания в Израиле.

Впереди и сзади лимузинов парами несутся военные мотоциклисты в белых пластмассовых шлемах. Обыкновенных туристов, прибывших в автобусах, израильские полицейские слегка придерживают у входа, пропуская вне очереди правительственную делегацию.

И кто бы ни были люди в лимузинах, японцы ли, румыны, уругвайцы или немцы, они, прежде чем спуститься, как в пещеру, в забранное черным бархатом, высеченное в скале помещение музея, как перед входом в еврейский храм, надевают на головы черные ермолки, услужливо поданные им молчаливыми привратниками.

Из полумрака музея, где лишь светятся огромные документальные фотографии, сделанные палачами до казней и после, с которых смотрят, раскрыв рты в немом крике, еврейские дети перед дулами винтовок, где стоят в очереди, белея голыми телами, у входа в газовую камеру еврейские женщины с прижатыми к груди младенцами, где лежат, оскалившись, груды младенцев, иностранцы выходят на яркий знойный свет, щурясь и пряча слезы. Подавленные. Угнетенные чувством собственной вины за то, что их народы допустили в свое время такое, ничего не сделали, чтоб предотвратить.

И тогда израильские гиды ведут их на узкую аллею, обсаженную молодыми деревцами. И лица иностранцев проясняются. Эта аллея называется Аллеей праведников. Каждое деревцо на ней посажено в честь человека, нееврея, не побоявшегося в ту пору протянуть руку несчастным, поставить на карту свою жизнь ради спасения еврейской семьи или еврейского ребенка.

У подножья каждого деревца-керамическая табличка с именем праведника и названием страны, где им были спасены евреи.

Калигури Челия (Италия) Кристиансен Анна (Дания) Жиль и Мари Феди (Франция) Андрис и Ида Янсен (Голландия) Рихтер Эмма (Германия) Зенон не выходит на Аллею праведников, когда там проводят в окружении полицейских официальную делегацию. Он отсиживается ниже деревьев на голом каменистом склоне холма. Таков его уговор с полицией. При делегациях не появляться. А к отдельным туристам может приставать сколько хочет. Израиль — свободная страна, и попрошайничать законы не воспрепятствуют.

У Зенона нееврейское лицо. Он — поляк. Чистокровный. Блондин с выцветшими голубыми глазами и обожженной на солнце и сморщенной от сухости кожей. В первые годы его нос и лоб багровели и шелушились от южного солнца, как молодой картофель. А теперь кожа пропеклась, стала темно-коричневой. Завитки нечесаных волос выгорели до белизны.

Киббуцная панамка, из синих и белых клиньев, съехала ему на нос, прикрыв глаза от прямых лучей солнца. Он сидит на ребристом камне. Спине и ягодицам даже через ткань горячо. Из-под края панамки сощуренные глаза следят через негустые кроны деревьев за цепочкой одетых в темные костюмы официальных гостей. Они удаляются, за ними и полицейские, и на аллее появляется болтливая и пестро одетая публика — туристы из Америки или Франции. Наметанный глаз Зенона определяет по их нескванному поведению, что это не христиане, а евреи.

Тогда он достает из-за камня почти пустую бутылку, разбалтывает остатки водки на дне и, выпив до конца, швыряет подальше. Затем встает с камня, критически морщась, смотрит на свои пропыленные и изношенные башмаки, подтягивает мятые штаны, все время норовящие сползти с его худых бедер, и тяжело шагает вверх, к аллее. Из нагрудного кармана выгоревшей армейской рубашки цвета хаки он без рук, запекшимися губами достает сигарету, перекачивает ее кончик в беззубом пустом рту, но не зажигает. Лучшее средство остановить туриста и завязать душевный разговор — попросить огоньку прикурить.

Пустая бутылка, брошенная Зеноном, долго скатывается по каменным уступам, не разбиваясь, а лишь издавая приглушенный звон.

— Здравствуйте, дорогие гости, — сняв с полысевшего темени киббуцную панамку и галантно взмахнув ею, будто в поклоне, до самой земли, обращается он к туристам по-английски. — Добро пожаловать на многострадальную землю Израйля.

Туристы, естественно, останавливаются, привлеченные и этим необычным приглашением, и всем обликом пожилого оборванца, никак не похожего на гида.

Он просит прикурить, и не одна, а сразу несколько зажигалок тянутся к нему со щелканьем, испуская невидимые язычки пламени. Прикурив, он окутывается дымом, вежливо благодарит и представляется:

— Кто я такой? Вы знаете? Ну, кем я вам показался с первого взгляда? Старым гоем, верно? Я не отрицаю. Я — не еврей. Я — гой. Но такой гой, как я, стоит иного еврея.

Вы видите вон то дерево? Слева, третье с краю. Это мое дерево. Не я его посадил. Его посадили в мою честь. Напрягите зрение... прочтите имя праведника под этим деревом... Зенон... и фамилию читайте. Да, да. Меня зовут Зенон. Это я из Польши. А следовательно, я-праведник. Когда фашистские людоеды, эти нелюди, эти варвары,

убивали всех евреев подряд, я... простой поляк... христиански поставил свою голову на кон...

Он говорил хрипло и громко, не совсем послушным от выпитой водки языком, а панамку так и не натягивал на голову, а держал в руке книзу доньшком, и туристы, без понуканий с его стороны и не дожидаясь просьб, смущенно клали, засовывали в панамку мятые израильские лиры и зеленые американские доллары. Мелочь никогда не клали, только бумажные банкноты. Чтоб не унизить героя, вступившегося за евреев, не обесценить его подвиг.

Когда из музея выходила на Аллею праведников смущенная и подавленная стайка туристов с нееврейскими физиономиями, Зенон встречал их другим приветствием:

— Здравствуйте, братья во Христе! Я такой же, как вы, не еврей, но живу в Израиле среди евреев. Замаливая наш общий с вами грех.

Вы своими глазами видели, что сделали нацисты в годы войны с евреями. Где они убивали младенцев и беспомощных стариков? В пустыне? В космосе? Нет! В густонаселенной Европе. На наших с вами глазах. На наших черствых и равнодушных глазах.

Посчитайте, сколько здесь растет деревьев! Ну, триста! Ну, пятьсот! От силы! На весь христианский мир нашлось всего триста или пятьсот чистых душ, праведников, рискнувших своей жизнью ради чужой. А остальные? Миллионы... Сотни миллионов видели и делали вид, что не видят. Позор нам!

В мою честь благодарные евреи посадили дерево в этой аллее. Назвали меня праведником. Вон мое дерево. Отсюда видно.

А вы кто? Снимите шляпы с голов! Пусть солнце святой земли жжет ваши головы, склоненные перед этими деревьями. Воздайте должное редким, праведным душам. И мне!

Он протягивал свою панамку, и христиане-туристы, чтоб поскорей отвязаться от него, откупались деньгами в разной валюте.

Лишь когда из пещерной прохлады музея выводили на зной очередную делегацию, Зенон покидал Аллею праведников, не дожидаясь, пока полицейские кивками попросят его убраться подобру-поздорову.

Его знали полицейские, знали служащие музея. Его пропеченное, в морщинах лицо с проваленным ртом уехало в разные концы земли — туристы любили фотографировать Зенона возле его дерева. За такую позу у него была такса-два доллара.

Иногда, когда ручеек туристов и экскурсий иссякал и арабы-рабочие с мотыгами рыхлили иссохшую землю вокруг деревьев и поливали из длинного шланга, Зенон отбирал у них шланг и свое дерево поливал сам, рукавом очистив потом керамическую табличку со своим именем от налипших комочков грязи.

В годы войны в деревне под Люблином совсем еще молоденький Зенон спрятал без ведома своих родных еврейскую семью в сарае, на сеновале. Носил им еду и питье. Дрожал от страха, когда чужие приближались к сараю, и не взял с евреев ни копейки. Потому что Зенон был влюблен в девицу из этой семьи по имени Хайка. После войны Зенон и Хайка поженились, поселились в Варшаве. У них родился сын Яцек. Зенон

стал коммунистом и сделал карьеру. О его мужественном поступке писали в газетах.

Но, на его беду, в Иерусалиме открыли музей Яд в вашем и заложили Аллею праведников. В честь Зенона было посажено дерево, а его самого правительство государства Израиль пригласило за свой счет в гости и наградило медалью.

Вернулся Зенон в Польшу с медалью, и вся жизнь его пошла прахом. Его назвали сионистом, прогнали из партии, уволили с работы. А потом намекнули, что в Польше ему делать нечего и пускай мотает в свой Израиль, Зенон и Хайка уехали. Сын Яцек тоже. Но он не в Израиль, а в Швецию и там женился на шведке.

В Израиле редко кто пьет. И водка, да и коньяк в еврейском государстве самые дешевые в мире. Зенон стал пить, сколько душа пожелает.

А когда умерла от рака жена Хайка, он без водки двух часов не мог прожить. Пропил все. Не только свою одежду, но и платья покойной. Потом продал по дешевке квартиру и стал ночевать по чужим семьям, где пожалеют и пустят. А все дни проводил на каменной горе у музея Яд в вашем, возле Аллеи праведников. Стал местной достопримечательностью. Туристы, слава Богу, Израиль не обходили стороной, и на водку раздобыть денег удалось без большого труда. Иногда, упившись, он засыпал на камнях, прижавшись щекой к начатой, но не конченной бутылке, и тогда гиды, если вели неофициальные туристские группы, рассказав о праведниках, спасавших евреев, показывали сверху, с аллеи, на него, спящего среди горячих камней, и, если кто-нибудь из любопытных хотел спуститься к нему, чтоб лучше рассмотреть, гиды сдерживали таких:

— Не троньте его. Пусть праведник отдыхает! Он заслужил покой.

СУББОТНИЕ ПОДСВЕЧНИКИ

Когда я сказал моему отцу, что уезжаю в Израиль, он, отставной полковник артиллерии и коммунист, не выразил никаких чувств по этому поводу, а только наморщил гармошкой лоб, заморгал из-под сдвинутых седых бровей и спросил:

— С каких это пор ты стал евреем? Я не нашелся, что ему ответить. Действительно, с каких пор? Весь советский образ жизни, да и немалые старания моего отца сделали все, чтобы изгнать из моей памяти даже намек на какое-нибудь национальное чувство. Я рос никем: ни русским, ни евреем. А просто советским, каким-то абстрактным, то есть никем.

Ответ на недоуменный вопрос отца родился в самые последние часы моего пребывания на русской, советской земле — в советском аэропорту «Шереметьево», среди форменных мундиров таможенных чиновников и истерически взвинченных лиц проходящих досмотр пассажиров самолета, летящего на Вену.

В толпе не менее взвинченных провожающих я то и дело натыкался на сосредоточенное угрюмое лицо отца, совсем еще не дряхлого и в свои годы, почти семьдесят лет, не потерявшего военной выправки. Его привычный суровый командирский взгляд не оттаял даже здесь и неотступно сопровождал меня в метаниях от чемоданов к столу, где немолодой с испытанным лицом таможенник дотошно и скудно ковырялся в моих вещах.

— А это что?

Руки таможенника извлекли из чемодана два массивных подсвечника, тепло замерцавших серебряным отливом под неживым светом люминесцентных ламп. Два еврейских субботних подсвечника отличной работы. Бог весть» какого столетия. С тяжелыми гроздьями винограда вокруг подножья и по спирали до самого верха.

— На вывоз за границу положено не больше девятисот граммов серебра, — сказал чиновник, взвешивая на ладонях подсвечники. — А тут на полтора килограмма потянет.

— Пропустите подсвечники... будьте добры...— вдруг заговорил я не своим, заискивающим тоном. — Это бабушкины... память о ней...

— На память...— сонно сказал таможенник, — хватит и одного подсвечника.

— Они парные... для субботних свечей... их нельзя разделять.

— Не положено.

Мне было противно, что я унижаюсь, но я почему-то не мог остановиться и продолжал канючить, забыв о своем самолюбии, словно на этих подсвечниках свет клином сошелся и без них мне уехать никак нельзя. Я оглянулся на отца, который, без сомнения, видел все и слышал и, конечно, должен в душе осудить меня за проявленную слабость и непонятное пристрастие, с каким я отбиваю у таможенника эти два подсвечника. И это после того, как я лишился, отказавшись от советского гражданства, и квартиры, и имущества, и всего, что нажил своим горбом.

Но вместо осуждения я прочел в глазах отца совсем иное. Его замкнутый непроницаемый взгляд, отработанный долгими годами военной службы, вдруг раскололся, поплыл, и в нем пробудились какой-то живой трепет и совсем уж непривычная для него еврейская скорбь.

Он узнал эти субботние подсвечники.

У меня дрогнуло сердце. Я нашел ответ на вопрос отца:

— С каких это пор ты стал евреем?

Бабушка Роза. Мать моего отца. Которую все называли барыней. И в этой кличке не было насмешки. А совсем напротив — почтительное восхищение.

Я появился на свет, когда она уже была стара. И поэтому помню ее совсем седой. Ее волосы были почти белыми и густыми, и носила она их по-старомодному, собрав кверху и связав на макушке узлом, откуда торчали головки черных шпилек.

И одета она была, словно сошла с пожелтевшего дагерротипа и ходила по советскому городу, в середине тридцатых годов, среди женщин с короткими стрижка— ми и челками на лбу, как восковая фигура, за которой не уследили музейные сторожа.

Она носила блузки с воланами и буфами на рукавах, длинные черные юбки, и на ее тонком греческом носу поблескивали стеклышки пенсне с черной лентой, свисавшей по щеке до шеи. В нашем городе, по крайней мере, я людей в пенсне больше не встречал.

В советское время, когда всех людей уравнили и все имели одинаковый нищий и

затертый вид, бабушка Роза, единственная в городе, оставалась барыней, какой и была до революции. Когда-то ее отец, а следовательно, мой прадед, был купцом первой гильдии, что по нынешним понятиям равняется миллионеру, с той лишь разницей, что его миллион исчисляется в царских золотых монетах, а не в нынешних обесцененных бумажках. И проживал он в столице Российской империи — Санкт-Петербурге, где евреям проживать категорически воспрещалось. Кроме тех, кто принял христианство, стал православным. А таких уж никто евреями не считал. Мой прадед не крестился, чтобы получить право жительства в столице. В законе была оговорка: еврей, обладающий имуществом не меньше, чем на миллион рублей, . получал разрешение поселиться в Санкт-Петербурге и в Москве, которая считалась второй столицей и куда евреев тоже на дух не подпускали. У прадеда состояние оценивалось не в один, а во много миллионов, поэтому он жил в Петербурге и имел дома в разных городах Российской империи.

В том городе, где много-много лет спустя родился я, в маленьком тихом городе на реке Березине, со всех сторон окруженном вековыми сосновыми и еловыми лесами, прадед тоже выстроил себе дом. Потому что раз или два в году он наезжал сюда из Петербурга. По реке Березине его люди сплавляли на юг плоты из огромных, остро пахнущих смолой бревен, и такому крупному лесопромышленнику не к лицу было останавливаться в местной захудалой гостинице.

Дом, который построил прадед, был, не скажу — самым большим в городе, но зато самым красивым без всякого сомнения. Он напоминал и средневековый замок в миниатюре, и терем из русской сказки. В три этажа, темно-зеленый, с отделанными в елочку фигурными дощечками стенами, с кружевной резьбой на оконных наличниках, с двумя, как церковные купола, башенками, матово отсвечивающими цинком, и такими же цинковыми с бахромчатой резьбой по металлу водосточными трубами, что змеями вились, причудливо изгибаясь на выступах карнизов, от цинковой крыши до каменного, как крепостная стена, фундамента. В окружении столетних голубых елей, чьи темные густые лапы были словно сахарной пудрой посыпаны, дом с башенкой выглядел новогодней елочной игрушкой.

После революции советская власть конфисковала дом, выселив его обитателей, и те еще были рады, что легко отделались: их могли запросто поставить к стенке и расстрелять. В доме разместилось самое главное учреждение — городской комитет партии большевиков. Судьба всех жителей города теперь зависела от того, с какой ноги встали люди, разместившиеся за столами на всех трех этажах дома моего прадеда. Дом хоть и оставался красивым, но глядеть на него было жутковато.

Когда я родился, уже мало кто помнил, кому этот дом когда-то принадлежал, а я просто не знал ничего. Но однажды бабушка Роза, гуляя со мной, остановилась перед зеленым домом с башенками, но на противоположной стороне улицы, и сказала:

— Если бы не советская власть, этот дом принадлежал бы тебе.

— Зачем мне дом? — удивился я, не вынув изо рта палец, который старательно сосал. — Человеку достаточно одной комнаты. И в ней можно жить вдвоем и втроем — так веселее.

— Когда подрастешь — поймешь. — Бабушка выдернула мой палец изо рта, а мои губы вытерла носовым платком.

Она повела меня дальше, но я все оборачивался на дом. Мне вдруг захотелось заглянуть вовнутрь, посмотреть, что там делают люди на всех трех этажах, которые могли бы быть в полном моем распоряжении, если б не советская власть.

Я попросил бабушку вернуться. Она печально показала мне не пальцем, а глазами на огромного милиционера с револьвером в черной кобуре на ремне, который стоял перед входом, как бы загораживая его.

Туда нужен пропуск, — вздохнула бабушка. — А так не пропустят... если ты не коммунист. Мы с тобой оба, слава Богу, беспартийные.

— Я вырасту и стану коммунистом, — сказал я.

— Не спеши. Достаточно нам того, что твой папа коммунист.

Бабушка говорила правду.

Сын «барыни» был коммунистом.

Во время революции ее выселили из зеленого дома с башенками, и с тех пор она ютилась в подвале многоэтажного дома. Ее комнатка с подслеповатым окошком у самого потолка, где виднелись лишь ноги прохожих, даже не была оклеена обоями, и стены были красные, по цвету кирпичей, из которых были сложены, с серыми цементными прожилками между кирпичами. Сейчас даже модно оклеивать стены обоями, имитирующими кирпичную кладку. В этом есть какое-то кокетничанье с бедностью. У бабушки были стены из реальных кирпичей. И бедность была без кокетства, реальной. Вдоль стен вились ржавые водопроводные трубы. Зимой кирпичи слезились от сырости, а бабушка кашляла, подолгу, со всхлипами в легких.

До революции она не имела понятия о бедности. Училась за границей, в Бельгии, и говорила по-французски с такой же легкостью и грациозностью, как и по-русски. После революции она зарабатывала себе на пропитание частными уроками французского языка, которые давала детям новой элиты: бывших сапожников, ставших хозяевами в стране.

У нее было четыре сына, с которыми занимались бонны и гувернантки. Бабушка не только не знала, как пеленать ребенка, она не помнила ни одной колыбельной песни, потому что ее детей укладывали спать няньки.

Однажды, уже позже, из-за этого произошел конфуз. Я еще был маленьким. Мои родители были куда-то приглашены в гости, и поэтому к нам, в военную крепость за городом, вызвали бабушку, чтобы она провела ночь со мной, Я долго не засыпал. И бабушка стала петь мне колыбельную песню. Мне понравилась песня. Бабушка повторила ее много раз, пока я не уснул. Эта колыбельная застряла в моей памяти. И мело— дия. И слова. На идише. Я ее помню до сих пор, хотя с тех пор ни разу не слышал, чтобы ее пели.

Много дней спустя после того, как бабушка у нас ночевала, при гостях я спел эту колыбельную песню, и гости долго и дружно смеялись. Потому что песня эта оказалась не колыбельной, а старинным любовным романсом. Романсы бабушка знала, а колыбельной — ни одной.

Тем не менее когда у меня появился сын и мне доводилось его укладывать спать, я почему-то пел ему тоже не колыбельную, а бабушкин любовный романс. И он засыпал, улыбаясь во сне.

Ее сыновья еще были подростками, когда их переселили в подвал. Но если б только это, было бы полбеды. На детях лежало проклятье происхождения. Они были из богатых, и революция швырнула их на самый низ социальной лестницы. С этим клеймом они были обречены. Перед ними, как перед прокаженными, были закрыты все пути. И несовершеннолетние мальчики, бабушкины сыновья, оставили ее, разбежались, кто куда, по всей России и там, скрывая происхождение, выдав себя за сирот времен гражданской войны, стали равноправными, поступили учиться и быстро сделали карьеры инженеров, ученых и офицеров.

К бабушке они не навевались — это могло подмочить их репутации. Лишь посылали ей кое-когда денежные переводы и редкие, очень редкие письма, в которых упоминались лишь самые важные события: их женитьбы и имена жен, даты рождения детей с присовокуплением их имен, а также фотокарточки, с которых глазели на бабушку незнакомые ей внуки.

Бабушка не обижалась на своих сыновей. Она все понимала. Не знаю, одобряла ли она ту цену, какую платили сыновья за свою карьеру при рабоче-крестьянской власти. Но я не помню, чтобы она хоть раз их укорила. Лишь со вздохом говорила: — Господи, не покарай их!

Эта фраза была самым сильным проявлением гнева. Она заменяла бабушке проклятье.

Помню, и я удостоился его.

Я уже был школьником, носил на шее красный галстук пионера и под барабанную дробь и надрывные вопли сверкающего горна маршировал в колонне таких же, как я, мальчиков и девочек, с такими же красными галстуками на тоненьких шеях, и нашим богом в стране безбожников был наш вождь Сталин, а нашим будущим — коммунизм.

Чтобы строить новое, надо ломать старое. Так учили нас. Строить — мы не умели. Зато ломать — с наслаждением. Нас, несмышленных, взрослые негодяи натравили на религиозных стариков. Нам ободряюще сказали, что мы можем ворваться в церковь или в синагогу и безнаказанно громить все, что попадется под руку. И если кто-нибудь вздумает нас обидеть, за нас вступится милиция и не позволит трогать маленьких.

Ох и побушевали мы, юные кретины, опьяненные безнаказанностью, в русском православном соборе с голубыми куполами и позолоченными крестами на них, а потом повторили то же самое в старенькой еврейской синагоге, раскидывая свитки Торы и таская за седые бороды древних согбенных старцев.

Домой я пришел в тот день поздно, с пылающими от возбуждения щеками и с нехорошим блеском в глазах. Снял красный галстук с шеи, аккуратно повесил его в шкаф и пошел умыться, чтобы остудить лицо. У нас в гостях была бабушка, и она сливала мне из ковшика холодную воду на подставленные ладони. А я, пока мылся, захлебываясь, рассказывал ей, как интересно провел день.

Бабушка не дала мне договорить. Наотмашь влепила пощечину по мокрому лицу, потом вторую, и, содрогнувшись от того, что наделала, потому что прежде за самые жуткие проделки ни разу не коснулась меня пальцем, подняла лицо к потолку, и, сдерживая дрожь, всхлипнула:

— Господи, не покарай его! Ибо он не ведал, что творил!

Я считаю, мне повезло куда больше, чем моим двоюродным братьям и сестрам, полукровкам, жившим в Москве, Ленинграде и Казани. Они не знали бабушку Розу и очень много лишились, как если бы выросли без витаминов. Лишь один сын бабушки Розы, мой отец, жил в том же городе, что и она, потому что судьбе было угодно, чтобы конноартиллерийский дивизион, в котором он служил, стоял в гарнизоне именно там, и стоял много лет подряд, до самого начала второй мировой войны. А где Дивизион стоял после войны, если этот дивизион вообще уцелел, никому неинтересно, потому что мой отец в нем больше не служил, а, главное, бабушки больше не было в городе— она умерла, а если быть более точным, была убита оккупантами и своими местными полициями, как и все другие евреи, не успевшие бежать от войны на Восток, в глубь России.

Я был единственным евреем среди внуков бабушки Розы и до сих пор разговариваю на отличном идише, хотя с каждым годом встречаю все меньше и меньше собеседников, способных тягаться со мной на равных на этом, к сожалению, вымирающем языке. Писать и читать не умею. Только разговариваю. Потому что схватил язык на слух. От бабушки Розы.

Ее идиш был совсем не похож на тот скрипучий, картавый язык, на котором ругаются и посылают всему миру проклятия базарные торговки. Он также отличается и от сухого лающего языка еврейских книжников, похожего на плохой немецкий. Бабушкин язык был певуч и горько-сладок, как грустная еврейская песня.

Идиш не был для нее основным языком. Читала она только по-русски и по-французски. И в разговоре пользовалась преимущественно русским. Идиш был ее увлечением, даже страстью. Интерес к этому языку был у нее исследовательский. Она с ним обращалась как археолог, собирая по крупичкам языковые драгоценности и осторожно очищая его от вульгаризмов, отметая весь налипший веками мусор. Бабушка обожала подолгу разговаривать с еврейскими портнихами, наслаждаясь «их цветистой скороговоркой, терпеливо слушать грубоватую, но сочную, как квашеная капуста, речь извозчиков и балагул и, как курочка по зернышку, отбирала искрящиеся алмазы и складывала в копилку. Поэтому, когда заговаривала она на идише, слушать ее было удовольствием.

В нашем доме на идише не разговаривали. Ни отец, ни мать. Хотя знали язык. В нашем доме, где обычными гостями были сослуживцы отца из конно-артиллерийского дивизиона, разговаривали только по-русски. Лишь когда мои родители оставались одни и хотели обменяться мнениями о чем-то, не предназначенном для детского уха, они вполголоса перекидывались несколькими фразами на идише.

Язык, на котором я заговорил в год, был, разумеется, русским.

Бабушка навещала нас раз в неделю, по субботам. Аккуратно причесанная, с высоко уложенными на голове седыми волосами, увенчанная темным роговым гребнем, с неизменной кружевной черной шалью на плечах, в поношенных, но почищенных кремом старомодных ботинках, высоких, со шнуровкой, она шла пешком через весь город, пересекала реку по железному гулкому мосту, выходила на булыжное шоссе, уложенное на насыпи, потому что луга с обеих сторон были низкими и топкими, и по ним разгуливали на красных тонких ногах цапли. Шоссе вело к красным кирпичным стенам военной крепости, построенной еще при царе и обнесенной высоким земляным валом, поросшим кустами орешника. У самых ворот

крепости с полосатой будкой и полосатым шлагбаумом бабушка доставала из складок кофты свое пенсне с черной ленточкой и не надевала на нос, а, как лорнет, подносила к глазам, чтобы разглядеть часового, солдата с красной звездой на тулье фуражки, с простоватой скуластой рожой, уже издали скалившего ей в улыбке свои крепкие зубы.

Часовые знали бабушку и пропускали без разговору. Ее знали и любили. Потому что не было случая, чтобы она чего-нибудь не подарила часовому. То пачку папирос, а то и пряник домашнего изготовления. Для бабушки Розы что солдаты, что арестанты были людьми одного сословия, которых надо жалеть и чем-нибудь подсластить их нелегкую жизнь.

В руках она несла не сумку, а узелок, повязанный из чистого платка. В нем лежали гостинцы для внука: коржики, усеянные маком, и пряники, липкие от меда. Бабушка в пятницу пекла все это в голландской печи, которая дымила из щелей и погружала весь подвал в синий едкий туман.

Я уже ждал ее прихода с самого раннего утра, когда только открывал глаза. Вместе с бабушкой в нашу квартиру входил вкусный и сладкий аромат ее гостинцев. Со мной она здоровалась на идише и требовала, чтобы я отвечал ей на этом языке.

— Стыдиться нечего родного языка... даже если твой папа коммунист и красный командир, — говорила она мне, подслеповато косясь на закрытую дверь в другую комнату, где, по ее предположению, не особенно торопился выйти к своей матери мой отец. — Если ты будешь отвечать мне на идише — получишь пряники, которые бабушка испекла своими руками, а если нет, то пусть тебе папа покупает гостинцы в советском магазине.

И я, по природе весьма ленивый, готовился к приходу бабушки как к экзамену, мучил маму вопросами, по сто раз повторял услышанные от нее слова, которые я собирался преподнести бабушке как сюрприз.

Идиш евреи называют «мамелoшн» — языком мамы. Я его могу смело назвать «бобелoшн» — языком бабушки. И для меня он связан с ароматом ванили и пряностей, который источали ее гостинцы. Для меня этот язык сладок и пахуч, и до сих пор, проходя мимо кондитерских и уловив ноздрями запах печенья, начинаю автоматически складывать в уме фразы на идише.

Иногда мама приводила меня в гости к бабушке и оставляла в ее подвале ночевать. Это случалось, когда моим родителям надо было куда-то отлучиться надолго из дому. Оставшись вдвоем, мы разговаривали только на идише, и я поражался — до чего красивым и благозвучным он становился в устах этой старенькой подслеповатой женщины.

Она не была националисткой. Боже упаси! Родной язык она упрямо сохраняла потому, что новая власть, которую она на дух не принимала, пыталась этот язык умертвить, выветрить из голов евреев. Она была религиозной, но берегла еврейские традиции не так уж по привычке, как из чувства сопротивления безбожному и безнравственному режиму, которому верой и правдой служили ее сыновья.

После выселений, реквизиций и конфискации у бабушки ничего не осталось от прежнего имущества, кроме ветхой одежды, многократно перешитой и штопанной. Ей также удалось сберечь два старых подсвечника. В них набожные евреи зажигают свечи по субботам. Эти подсвечники были из чистого серебра и матово лоснились, когда

бабушка натирала их песком. Они бы— ли тонкой художественной работы: увиты по спирали гроздьями винограда и довольно тяжелые на вес— когда я был маленьким, еле удерживал в обеих руках. На самом верху каждый подсвечник был увенчан раскрытым бутонем розы. Тоже из литого серебра. В этот бутон бабушка вставляла оплывший огарок свечи и зажигала темный фитилек, головкой шпильки выковыривая его из застывшего парафина.

Оба огарка в подсвечниках горели каплевидными язычками, вытягиваясь в темную ниточку копоти и покачиваясь, когда хлопала на лестнице дверь или наверху за подвальным окошком прогромыживала на улице по булыжникам телега.

Эти два огонька озаряли мягкое, в складках, бабушкино лицо, кружевной белый платочек на голове, отражались слепящими бликами в стеклах пенсне.

Бабушка рассказывала мне, как она умудрилась сохранить подсвечники даже в ту пору, когда вскоре после революции советская власть отбирала дорогие вещи у их владельцев, и в первую очередь золото и серебро: за укрывательство таких вещей владельцев, не желавших расставаться со своим добром, держали в тюрьме, пока они не сознавались, куда спрятали это добро, а особенно упрямых в назидание другим ставили к стенке и расстреливали.

Революция у бабушки отняла все, и она даже не очень и скорбела. А вот с этими двумя подсвечниками, цена-то которым не Бог весь какая, расставаться никак не желала.

По всему городу шли обыски. Сотрудники ГПУ, в кожаных куртках и с большими маузерами в деревянных кобурах, врываются по ночам в спальни к обывателям, на кого поступал донос, и все переворачивали кверху дном, пока не находили в тайнике пару серебряных ложек или золотую брошь. Добыча тут же конфисковывалась в пользу государства, а ее бывшему владельцу за укрывательство припаивали пяток лет тюремного заключения. Без разбирательства. И без суда. Именем трудового народа.

Свои подсвечники бабушка Роза укрыла надежно. Кто-то их засек у нее и донес властям. Дважды обыскивали подвал: ничего не нашли. В третий раз искать не стали, а пришли ночью, велели одеться и увели с собой.

В городском отделе ГПУ, в заплешанной и прокуренной комнате, бабушку допрашивал сам начальник Вертубайло, чахоточный скелет с нечесаным скальпом. В накинутой на острые плечи черной комиссарской кожаной куртке он сидел на стуле, поигрывая револьвером в костлявой руке, а бабушку оставил стоять. Бабушка не испугалась его угроз и спокойно отвечала, что она ни о каких подсвечниках ничего не знает и что ее оклеветали.

Тогда Вертубайло вызвал двух красноармейцев с винтовками, к которым были примкнуты граненые штыки, и приказал вывести ее во двор и расстрелять.

Красноармейцы повели ее, и, в дверях, Вертубайло окликнул:

— Ну, сволочь, жить тебе осталось пять минут. Сознавайся!

Бабушка не ответила ему и вышла за дверь. Красноармейцы спустились с ней по замызанной лестнице на первый этаж, вышли в маленький утопанный дворик без единой травинки, окруженный со всех четырех сторон глухими кирпичными стенами, а в местах, где раньше были окна, проемы без рам были затянуты мешками с песком и

крест-накрест заколочены старыми трухлявыми досками.

Ее, полуживую, поставили спиной к стене, сами отошли шагов на пять, подняли винтовки и навели на бабушку. Сверху со второго этажа высунулся из окна нечесаный Вертубайло и насморочным голосом скомандовал медленно, с расстановочкой:

— По врагу революции... именем трудового народа... слушай мою команду... стрелять при счете «три»... считаю... Раз!

Бабушка закрыла глаза.

— Покажешь, где подсвечники, буржуйское отродье? За кусок серебра жизнь свою собачью не пожалеешь? Считаю... Два!

Дальше бабушка ничего не слышала, хотя чувств не лишилась и не рухнула навзничь. Просто отключилась.

— Не врет, стерва, — сплюнул со второго этажа чахоточный начальник ГПУ. — Гоните ее в шею.

Бабушку вывели на улицу и подтолкнули в спину. И она пошла. Понемногу оживая. Пришла к себе в подвал, когда уже стемнело. Стала свет зажигать и вспомнила, что пятница. Пошла и принесла из тайника подсвечники, поставила их на столе, воткнула по свечному огарку, засветила и при колеблющихся огоньках зачитала молитву на древнееврейском языке, застрявшую в памяти еще с детства.

С тех пор она стала произносить молитву каждую пятницу, перед ужином, как это делала ее покойная мать, а до нее мать матери. Молилась она в одиночестве, без свидетелей, а то, чего доброго, донесут куда следует, и это может плохо отразиться на карьере ее сына, моего отца. Поэтому даже и при мне, своем любимце, она этого не делала, а если я застревал у нее допоздна в пятницу, зажигала свечи молча.

Как бабушка молится, я все же услышал. И не потому, что схоронился неприметно и проследил. Нет.

На нашу семью навалилась беда. Бабушкиных сыновей, живших в Москве, Ленинграде и Казани и занимавших там очень ответственные посты, одного за другим арестовали, как иностранных шпионов. Какое-то время оставался на свободе лишь мой отец. Потом и его взяли, подняв всю нашу квартиру на ноги поздней ночью, и я, еще не совсем очнувшийся от сна, видел, как его уводили, велев надеть не военное обмундирование, а гражданскую одежду. Единственный гражданский костюм отца незадолго до этой ночи мать отдала в чистку, и он ушел в тюрьму в спортивных тренировочных шароварах и вязаном свитере, со звездой на спине — эмблема спортклуба, лишь на ноги ему разрешили натянуть армейские сапоги, но не хромовые, парадные, а из яловой кожи, в которых он ездил на полевые занятия.

Таким образом и я, как и мои двоюродные братья и, как я потом узнал, тысячи и тысячи других детей по всему Советскому Союзу, стал сыном «врага народа».

А бабушка Роза стала матерью четырех «врагов народа» — по количеству арестованных сыновей. Их, кроме того, что они — агенты иностранных разведок, обвинили также и в сокрытии своего буржуазного происхождения. Так что все их уловки, отдаление и отчуждение от матери, не помогли. Только напрасно старушку обижали. В ГПУ все знали и, небось, посмеивались, видя, как они упорно отгораживаются от своей матери и подчищают все следы своего «преступного»

непролетарского происхождения.

Вот тогда-то я впервые увидел всех бабушкиных внуков — моих двоюродных — вместе под цементным потолком ее подвала. Их мамы, одна — татарка, другая — русская третья-украинка, после ареста мужей были выселены из своих квартир прямо на улицу, с детьми. Куда им было деваться? Родственники в страхе отвернулись от них, чтобы на себя не навлечь беды. Даже родители побоялись приютить своих дочерей с внуками, хотя они были самого пролетарского происхождения и в своем прошлом им нечего было таить от советской власти. Не пустили на порог.

И, не сговариваясь, из Ленинграда, Москвы и Казани, купив на последние деньги билеты на поезд, устремились все три невестки с детьми в наш маленький город, к бабушке Розе, которую до того ни разу не навестили, в тайной надежде, что она не прогонит, даст им кров.

Бабушка Роза, мудрая и великодушная, с каждой из них поцеловалась при встрече, как с родной дочерью, с татаркой Гюзель, и с русской Марусей, и с украинкой Валентиной, и всем им нашла место в своем тесном подвале.

На всю жизнь запомнил я ужин у бабушки в ночь на субботу. За столом было тесно, и дети сидели на коленях у матерей, и, потому что не хватало посуды, каждый ел из одной тарелки с матерью.

Бабушка поставила посреди стола свои два серебряных подсвечника с новыми свечами. Зажгла их. И сказала молитву по-древнееврейски (тогда я впервые услышал эту молитву), как фокусник в цирке, сделав ладонями вроде крыши над трепетными огоньками, а потом этими же ладонями проведя по своему лицу. Она благословила хлеб и еду и спокойно и с достоинством попросила у еврейского Бога, воздев близорукие глаза к бугристому цементному потолку подвала, сжалиться над безбожными ее сыновьями и не оставить сиротами этих детей, в каждом из которых вместе с русской, татарской и украинской кровью была частичка ее, бабушки Розы, еврейской крови.

Она разговаривала с Богом на его языке. Не на идише. По-древнееврейски. И не только все три невестки — одна из мусульман, две другие христианского, православного происхождения, но и я — единственный внук ее, на все сто процентов еврей, не могли понять ни слова. Но зато мы все поняли, о чем речь, следя за бабушкиными глазами и слушая, с какой болью и страстью говорит она с потолком.

С той ночи у меня, выросшего без Бога, в моей одурманенной голове родилось подозрение, что вопреки всем уверениям советской власти, моих школьных учителей и воспитателей в детском саду, Бог все-таки существует. И сердце у него-не камень.

Потому что он, Бог, услышал молитву бабушки Розы. Все сыновья, год или два спустя, вернулись из заключения живыми. Но не невредимыми. Они были очень крепкими и упрямыми — сыновья бабушки Розы-и не подписали ни одного обвинения в шпионаже и вредительстве, сколько их ни били на допросах. Они вернулись с широкими расплюснутыми носами, какие бывают у боксеров, с поломанными и неправильно сросшимися пальцами на руках, и вместо своих белых зубов, с какими их увезли, объявились дома со вставными металлическими, нестерпимо сверкавшими, когда они разжимали свои неровные, в заживших шрамах, губы.

Тогда, в ту ночь на субботу, я как зачарованный смотрел на огоньки на кончиках

свечей в серебряных тяжелых подсвечниках. Эти огоньки, чуть колеблемые, отражались на выступах каждой виноградины в серебряных гроздьях, обвивавших подсвечники, и оттуда зайчиками играли в заполненных слезами до краев ресниц глазах женщин, плечом к плечу сидевших за столом и внимавших непонятным, но убедительным словам, которыми бабушка Роза просила у своего Бога помощи.

Потом они уехали, увезя детей. Уехали, когда их мужья вернулись и им больше ничто не угрожало. Но с тех пор они уже не стыдились бабушки и писали ей письма аккуратно.

А потом была война. Когда немцы заняли город, никто из бабушкиных сыновей не смог ее защитить. Они были в армии. И до невесток с внуками было не докричаться. Даже я с мамой, как назло, жили в то лето далеко от города и туда уже не вернулись.

Она погибла вместе с другими евреями, не успевшими или по старости не сумевшими убежать из города.

После войны, уже взрослым человеком, я заехал в этот город. Лично у меня там не оставалось ничего. Потянуло к местам, где прошло детство. А если не кривить душой — надеялся разыскать могилу бабушки Розы.

Военная крепость, где мы жили до войны, сгорела дотла. Вокруг пустых узких окон-бойниц на кирпичах были черные полосы копоти. На плацах, где когда-то солдаты учились рукопашному бою, росла дикая трава, и там паслись козы с репьями, застрявшими в бородах и на боках. Кое-где крепостные стены обвалились. Крепость не восстанавливали: она была бесполезной в условиях современной войны.

Сгорел и многоэтажный дом, в подвале которого жила бабушка Роза. Кирпичные стены с облупленной штукатуркой. Повисшие в воздухе лестничные марши. Скрученные, словно в конвульсии, железные балки перекрытий.

Но подвалы этого пожарища были обитаемы. Окошечки у самого тротуара были застеклены, и, нагнувшись, можно было разглядеть, что там, за стеклом, кто-то двигался. На стук открыла старушка. С крестиком на дряблой шее. Когда-то жила наверху в этом же доме.

Она меня узнала. И даже всплакнула. Пригласила войти. Вещи в подвале были другие, не бабушкины. За кроватью, покрытой стеганым одеялом, стояли на полке два до боли знакомых подсвечника. Тусклого серебра. Перевитые виноградными гроздьями.

— Это ее, — кивнула старушка. — Как уводили, беднягу, сказала мне: возьми себе. На память. Мол, больше ничего у меня ценного нет. Ну, развернулся живой — твои они. По наследству.

Она завернула подсвечники в газету с фотографией Сталина в форме генералиссимуса на полстраницы и протянула мне. Я принял их в раскрытые ладони, и руки мои дрогнули.

...Теперь, в таможне, я держал в руках оба подсвечника и смотрел в рыбы, с похмелья, глаза чиновника, все еще надеясь, что он вдруг улыбнется, махнет рукой и скажет:

— Ладно! Вези оба! Он не улыбнулся.

— Попрошу не задерживать, — сказал он, не глядя на меня. — Один подсвечник

разрешаю взять, второй оставьте здесь. И чтоб больше к этому вопросу не возвращаться.

— Дай, сынок, мне один.

Мой отец протянул руку к подсвечнику.

Я уже был в зале ожидания, где толпились евреи, прошедшие таможенный досмотр. Они держали сумки, маленькие чемоданчики — ручную кладь, которую позволяли взять с собой в самолет. У меня в руке, зажатый посреди стебля, мерцал серебряный подсвечник.

За толстым звуконепропускаемым стеклом от пола до потолка, прозрачной, но глухой стеной отгораживающим уезжающих навсегда от провожающих, остающихся навсегда, стоял, сдавленный другими евреями, мой отец, приплюснув нос и шевелящиеся губы к стеклу. Я ничего не слышал, сколько ни напрягал слух. Мы уже были в двух разных мирах, разделенных не только этим стеклом, но и границей, о которой напоминали то и дело проходившие по залу солдаты с автоматами в зеленых фуражках пограничных войск. Глаза отца моргали — он силился сдержать слезы, как подобает офицеру, хоть и отставному. У меня тоже из-за влаги в глазах расплывалось, текло изображение, и нестерпимо, до рези, посверкивал в отцовской руке бабушкин подсвечник, насильственно разделенный со своим напарником. Должно быть, и меня отец тоже видел нечетко, и ему туманно отсвечивал второй подсвечник, в моей руке. И эти два ярких серебряных блика у меня и у отца по обе стороны стекла выделяли нас обоих в толпе, как две половины расколотого целого.

ЗАГАДОЧНАЯ СЛАВЯНСКАЯ ДУША

После ужина гости Маргулиса обычно разделялись на две группы. Мужчины, те, что помоложе и крепче, поднимались на второй этаж в кабинет к хозяину перекурить. Кабинет из темных старинных книжных шкафов по стенам, с большим письменным столом, напоминавшим зеленым сукном биллиард, и мягкими кожаными креслами и диванами, тонул в зеленоватом полумраке настенных бра и старинной литой бронзы настольной лампы. Зеленоватый свет быстро перемешивался с синими прядями сигарного дыма. Вкусные гаванские сигары в раскрытой коробке манили закурить даже тех, кто давно бросил это занятие. Алекс мучительно боролся с искушением взять двумя пальцами хрустящую и упругую темно-коричневую штуку, медленно развернуть и снять золотистый ободок, надрезать специальным ножичком кончик и, прикусив сигару передними зубами, подержать во рту и не зажигать, а только вкушать острый возбуждающий запах.

Покурить с мужчинами поднимался и девяностолетний Сэм Кипнис и, пыхтя и посапывая, жевал вялыми губами сигару, слюнявил ее, и рыжие трупные пятна на его голом черепе ступшеывались в облаке пахучего дыма.

Из женщин уходили в кабинет нещадно курившая миссис Шоу, оставив в гостиной занимать дам своего некурящего мужа-адвоката, и еще одна молодящаяся сухопарая женщина, муж которой недавно бросил курить. Эти две дамы присоединялись к мужчинам не только из-за своей страсти к табаку — пропустить пару сигареток не возбранялось и в гостиной, а потому, что в кабинете у Эйба Маргулиса гости

предавались мужским разговорам, далеко не для каждого женского ушка приемлемым. Их мужчины считали «своими парнями» и не стеснялись в выражениях. И они курили и слушали, понимающе играя глазами, но сами в разговор не вмешивались — это, пожалуй, посчиталось бы нарушением приличий.

Собиравшиеся в кабинете курильщики давно знали друг друга, и эти встречи почти в том же составе чередовались то у Эйба Маргулиса, то у кого-нибудь из них, каждую неделю год за годом. За исключением летних каникул и зимних поездок в Колорадо на лыжный сезон. Все хоть мало-мальски скабрёзное из своего опыта они уже поведали друг другу, и не по одному разу, смакуя и мусоля пикантные подробности. Алекс был свежим человеком. И опыт его был другой. Из таинственной и романтической России. Да еще он и рассказчик был отменный. И поэтому все взоры из сигарного дыма устремились на него, без слов пояснения, что пальма первенства отдана ему, их уши приготовлены к приему и заранее предвкушают услышать нечто незаурядное, с перцем, а уж дело его чести оправдать их надежды и доставить им радость.

На сей раз Алекс решил не копаться в далеких воспоминаниях, а пощекотать их уши рассказом о своих приключениях здесь, в Америке, на Западном побережье, в славном городе Сан-Франциско, куда занесла его изменчивая эмигрантская судьба как раз в ту пору, когда он на короткий миг стал ее баловнем. И не без помощи Эйба Маргулиса, замолвившего за него словечко в каком-то лекционном бюро, и его, как по мановению волшебной палочки, на неделю вынесло из грязи в князи, из тараканьего логова гостиницы «Ройял» в охлажденный воздух апартаментов самых роскошных отелей «Хилтон» и «Шератон», и он плотно, впрок, бесплатно набивал свое брюхо самыми изысканными блюдами в дорогих ресторанах при этих отелях три раза в день, а если не было лень, то и четыре раза, вместо денег рассчитываясь с официантами своей размашистой подписью на каждом счете, поднесенном на серебряном блюдечке. И еще дописывал пятнадцать процентов дополнительно к счету на чай вышколенному холую, знающему толк в клиентах и, конечно, догадывающемуся, что эта птица не из миллионеров, потому что миллионер так не пыжится, стараясь выглядеть солидно и, кроме пятнадцати положенных процентов на чай, приписанных к счету, обязательно уходя оставит на столике среди смятых салфеток доллар-другой наличными.

Бюро, нанявшее его для этого тура по нескольким городам, кроме умеренного гонорара, оплачивало все его расходы: и самолет, и такси, и гостиницу, и питание в гостиничных ресторанах. Алекс только расписывался на счетах.

В Сан-Франциско он отбарабанил свою лекцию в полдень во время ланча, и его слушали с набитыми ртами, жуя сэндвичи и хлебная кофе из бумажных стаканов. Так в Америке экономят время. А потом он был свободен до следующего утра. Утром предстояло вылететь в Питтсбург, почти на другой конец континента, и завтрак и обед, тоже бесплатные, входящие в стоимость билета, ему будут сервировать на пластмассовых подносах на откидном, со спинки переднего кресла, столике прелестные, улыбочивые стюардессы.

Алекс не позволял себе тратить лишнего доллара, стараясь сэкономить как можно больше в поездке, чтобы потом тянуть на свои кровные в Нью-Йорке. Поэтому он себе никаких развлечений, связанных с затратами, не позволял и старался держаться поближе к своему небоскребу-отелю, где все, что он израсходует, будет занесено в счет и предъявлено не ему, а его работодателям. Он дважды пообедал, выпил несколько коктейлей, послонялся по холлам, полежал во дворе на раскладушке возле

бассейна, сняв рубашку и грея плечи и грудь на ласковом калифорнийском солнышке. Потом смотрел цветной телевизор у себя в номере, прыгая с программы на программу нажимом кнопки на ручке дистанционного управления. Распахнул шторы и смотрел с пятнадцатого этажа на залив с первыми огоньками на противоположном берегу, на знаменитый цепной мост «Золотые ворота», пересекающий залив. Верхушки двух опор моста уходили в облака или в полосу тумана, пробивая их насквозь и оттуда дразня небо красными сигнальными огнями. Огоньков на заливе становилось все больше и больше. Наступал вечер. Спать не хотелось, потому что он днем успел вздремнуть между двумя обедами.

Всего этого Алекс, конечно, не рассказал гостям Эйба Маргулиса, собравшимся в кабинете выкурить по сигаре и послушать что-нибудь с перчиком, мужскому «уху предназначенное». Он начал с того, как, совершенно не зная, куда себя девать, увидел в лифте отеля афишку с объявлением, что на четырнадцатом этаже к услугам постояльцев имеется финская сауна с массажистками. Алекс решил выйти на четырнадцатом и узнать, нельзя ли попариться и подвергнуть свое тело массажу не за наличные, а такой же росписью в счете, как и в ресторане и в киосках, торгующих разной мелочью в холле.

В приемной на него подняло зеленые, как незрелый крыжовник, глаза прехорошенькое существо с рыжими, медного оттенка, пушистыми волосами, с белым, какое бывает только у рыжих, лицом, редкими пленительными веснушками на щеках и вздернутом носике. Она была в бледно-голубом, выше колен, халатике, в незапахнутом вороте которого заметно бугрились такие же молочно-белые груди, не стесненные никаким бюстгальтером. Босые ноги с крепкими икрами и круглыми коленями держали на концах пальцев домашние шлепанцы.

Алекс подробно описал прелести Кэт, которую он тут же на русский манер окрестил Катей и так и называл ее дальше. Она понравилась слушателям. Даже миссис Шоу прищурилась, буравя Алекса своим загадочным мерцающим взглядом из-под наезжающих на глаза прямых прядей черных с сединой волос. А престарелый Сэм Кипнис перестал чмокать сигарой и сидел не шелохнувшись — длинный кусок серого пепла на конце его сигары держался и не падал ему на колени.

Эйб Маргулис ободряюще улыбался несвоими жемчужными зубами и удовлетворенно поглядывал на внимающих рассказчику гостей. Начало сулило презанимательнейшую интрижку.

Все решило крохотное обстоятельство: услуги массажистки тоже можно было внести в гостиничный счет, и скоро Алекс уже лежал на деревянной полке в сауне, и его обнаженное тело приятно покалывали и щипали незримые волны сухого пара. Потом он лежал в прохладной кабинке, с наслаждением вдыхая полной грудью остуженный эйркондишеном воздух. Зеленоглазая рыжая Катя сидела рядом с ним, показывая вкусные круглые колени, и старательно натирала маслами его грудь и живот, целомудренно прикрыв низ живота мохнатым полотенцем. Затем она массировала его ноги и, велев повернуться, спину и плечи, шлепала ладошками наотмашь по ягодицам.

Алекс блаженствовал и чуть ли не мурлыкал от наслаждения и испытывал какое-то удивительное, необъяснимое чувство оттого, что он лежал голый, и рядом с ним сидела, лаская его тело упругими ладошками, полуодетая пышущая здоровьем и

свежестью юная зеленоглазая русалка, почти доступная и недосыгаемая. Эта вот половинчатость, недосказанность волновала его больше, чем если бы она принадлежала ему и в его мужской самцовой воле было бы поступить с ней как ему заблагорассудится. Рыжая Катя, оказавшаяся американкой в пятом поколении, хорошей смеси шотландских и ирландских кровей, массировала его прилежно, ей, видно, наскучило безделье из-за нехватки клиентов, и это было разминкой для нее самой, ее белокожего, крепкого, до краев налитого соками тела. И беспечно болтала с ним, заинтригованная его акцентом. И профессией. Кинорежиссер. Близость Голливуда сказывалась на воображении калифорнийских девчонок. Там была сказочная жизнь. Доступная избранным. Кому повезет. Кто сумеет вовремя показать свои прелести нужному лицу. Даже не кинорежиссеру, а его третьему ассистенту. И тогда распахнутся ворота рая. Начнется феерия.

И вот Катя разминает еще не совсем старое тело такого мага, волшебника. Да еще из загадочной России. Говорящего по-английски с таким акцентом, с каким в голливудских фильмах разговаривают русские шпионы.

Еще не имея никакой определенной цели, он сразу стал привирать ей. Даже не заикнулся о своей эмигрантской нищете. Он, мол, советский кинорежиссер, из Москвы, будет ставить совместный советско-американский фильм. Сейчас это в моде. Детант. Вот, ездит по Америке, приглашенный Голливудом, знакомится с жизнью этой страны, ищет места поинтереснее для съемок.

Катя клюнула на наживку. Даже перестала массировать, а лишь задумчиво водила ладонями по его бокам, бедрам и раз нечаянно смахнула полотенце, обнажив его всего, и при этом не смутилась и не стала поднимать полотенце с полу.

— Как долго вы пробудете в Сан-Франциско? — спросила она.

— Недельку... или две.

Алекс улетал завтра утром в Питтсбург, и билет на самолет торчал из нагрудного кармана пиджака, который висел на плечиках у его изголовья.

— Вы здесь уже все успели повидать?

— О нет. Я только приехал, — потянул нитку Алекс. — Мне бы хотелось посмотреть Сан-Франциско изнутри. Понимаете, не туристический Сан-Франциско, а его лакомые, зланные места... известные лишь хорошему знатоку города.

— Я здесь родилась, — сказала Катя, и ладонь ее застыла на его животе.

— Послушайте, Катя, — снизу заглянул ей в глаза Алекс. — Вас Бог послал. Мне нужен гид! Вы знаете город как свои пять пальцев. Не правда ли? Я не ограничен в средствах, и поэтому мы себе можем позволить роскошь побывать в самых изысканных и дорогих местах.

— Но... я работаю.

— Возьмите отпуск.

— Зачем? Я занята через день... Вас устроит... если... я буду с вами... три дня в неделю?

— Конечно. И... ваш труд будет отлично оплачен. Расходы, разумеется, я беру на себя. Сто долларов в день вас устроит?

— О!

— И вообще за деньгами остановки не будет. Все должно быть самым лучшим и изысканным. Платит Голливуд.

— О!

— Ну, вот и договорились. Завтра с утра и начнем. Никто не заглядывал в массажную кабинку, и Алексу вдруг мучительно захотелось ее. Он положил руку ей на бедро. Она не сняла руки, а только вскинула глаза и деловито сказала:

— Здесь нельзя. Узнают — немедленно уволят. Тогда поднимемся ко мне...

— Нет. Я работаю в этом отеле. Кто-нибудь увидит.

— Когда ты кончаешь работу?

— Около полуночи.

— Сразу же поднимайся ко мне. Этажом выше. Без лифта. По лестнице. Там никто не ходит.

— А как я выйду? Мне ведь придется поздно ночью пройти через холл... а служащие отеля знают, когда массаж закрывается. Догадаются, где я была.

— Глупенькая, зачем тебе ночью переться через холл? Поспишь у меня, а завтра, когда новая смена за— ступит и в холле будет много народу, тебя никто и не заметит.

Доводы Алекса убедили ее. Она спросила номер его комнаты и сказала, чтоб он ждал ее после двенадцати. Он оделся, не стесняясь ее. Она выписала квитанцию на пятнадцать долларов. Алекс щедро приписал снизу чаевые и размашисто расписался. А уходя, фамильярно поцеловал ее в щеку, а затем, подумав, в губы. Катя прикрыла веками свои зеленые большие глаза и, нежно обняв за шею, поцеловала в ответ и тоже в губы. Как целуют любимого. Без подделки. Девочка с радостью быстро-быстро вошла в роль любовницы знаменитого кинорежиссера-волшебника, способного одним взмахом руки переделать ее скучную и серую жизнь Золушки из массажной кабинки отеля в ослепительную и радужную сказку, где деньгам не знают счета, все будет самым лучшим и изысканным. Платит Голливуд.

До полуночи оставалось почти три часа, и Алекс все это время изнывал от нетерпения, снова слонялся по всему многоэтажному отелю, заглянул в ресторан, поковырялся в еде, но есть не смог и лишь подписал очередной счет. Посидел в баре, тянул коньяк. Без интереса обозревал публику, а в мыслях был с ней, с Катей. Чувствовал кончиками пальцев ее белую-белую кожу, видел мерцание зеленых, как незрелый крыжовник, глаз, зарывался лицом, носом в пушистую гриву медного цвета и обрывал грезы, чувствуя, что соседи замечают, как он возбужден, и даже косятся на его вздувшиеся между ног брюки.

Последний час он решил полежать в комнате. Успокоиться, отдохнуть. Предстояла сладкая, но совершенно изнурительная ночь. А завтра у него лекция в Питтс-бурге, а после такой ночи да еще многочасового перелета он будет иметь неважнецкий вид. Ему ведь не двадцать и не тридцать. В его возрасте любое чрезмерное усилие запечатлевается на лице новой морщинкой и синяками под глазами.

В половине двенадцатого он почувствовал, что у него заныло в челюсти. В верхней. С правой стороны. Он сунул в рот палец. Нащупал зуб. Заныло сильнее. Он

нажал. И тогда родилась боль. Тонкая. Сверлящая. От зуба вверх к скуле. Оттуда к виску. И под череп.

Он вскочил, забегал по комнате. Боль росла, охватывая полголовы. Вся ту сторону, где вначале слабо заныл зуб.

Зубная боль всегда пытка. И даже сильные, мужественные люди сгибаются от нее в три погибели. Но когда такая боль начинает разрывать челюсть и всю голову накануне свидания с красоткой, которая вот-вот войдет, играя зелеными глазами, открывая в улыбке за сочными губами ровные белые зубы, которые не болят... то хочется взвыть в голос и проклясть свою злосчастную судьбу.

Куда звонить в такой поздний час в незнакомом городе?

Алекс вскочил в ванную, разинул рот перед зеркалом, двумя пальцами ухватил больной зуб, зашатал его в нелепой потуге вот так вот голыми пальцами вырвать с корнем и таким образом заглушить, унять невыносимую боль.

Конечно, ничего сделать не удалось. У Алекса раскалывалась голова. Боль пульсировала в висках, в затылке. У него начинался жар. Хотелось выть в голос. Он пробовал полоскать рот холодной водой из крана. Не помогло. Включил горячую воду. Стало еще хуже. Он носился по своей комнате, упершись кулаком в больную челюсть, и с трудом слышал сквозь гул в голове настойчивый вкрадчивый стук в дверь. Наконец в его сознании сверкнула мысль о том, что это Катя. На часах была четверть первого ночи.

Он открыл, постаравшись придать своему лицу нормальное выражение. Катя вошла, улыбаясь и прикрыв за собой дверь и сама повернув ключ в замке, стала перед ним, интимно заглянула в глаза и положила свои руки ему на плечи.

Когда она разделась, Алекс, хоть ему было не до того от неослабевающей боли, не смог не прийти в восторг при виде мягкой белой фигуры, белой, как мрамор, с синими прожилками порой чуть заметных под кожей вен. При взмахе головы вздыбливался огненный вихрь волос. И глаза. Огромные. И зеленые. И доверчивая улыбка двух рядов прекрасных, как на заказ, зубов. При ее двадцати годах у нее широкие налитые женские бедра. И большие груди. Белые полушария с темными торчащими сосками.

Алекс лег с ней в постель и на время отключился, забыл о боли. Готовая лопнуть голова была отдельно, а все его тело напряглось от возбуждения. В нем проснулся такой, силы самец, каким он себя давно не помнил, и он овладел ею яростно, зло, словно каждым ударом своего тела он давил, уничтожал боль, и Катя, стена и вскрикивая, наслаждалась им многократно, пока и он разрядился, наконец.

Как только это произошло, тупая неумолимая боль снова стала рвать череп, и Алекс, лежа на спине рядом с совершенно раздавленной и удовлетворенной Катей, которая слабо и нежно поглаживала ладошкой его живот, чуть не плакал от досады. Катя даже и не догадывалась, какие муки испытывал он.

Он думал о том, что надо сказать ей. Может быть, она что-нибудь посоветует, придумает. Но тогда из любовницы она превратится в сиделку. А утром он улетит и больше не увидит ее, и на всю жизнь у него останется ощущение, что его только поманили, показали краешек огромной радости и не дали насытиться ею, а только разожгли голод, который уже больше не утолить. Ни одна женщина не сможет заменить Катю. Так казалось ему в ту ночь. И он ничего не сказал ей. И еще два раза

овладел ею. Доводя ее до иступления своей неиссякаемой мужской силой и бесконечно долгой выдержкой, причины которой ей были невдомек. В перерывах он убегал в ванную, полоскал рот. Снова пытался вырвать пальцами зуб. И тихо поскуливал, чтоб она его не услышала.

Ему так и не удалось в эту ночь сомкнуть глаз. Катя умудрилась несколько раз вздремнуть, разметав мягкие рыжие волосы по его груди и лицу, и он жевал губами эти волосы, стараясь хоть этим отвлечься от боли. Порой ему казалось, что щека вздулась и опухла, но Катя, открыв глаза, ничего не замечала, даже когда, ласкаясь, водила горячими губами по этой стороне лица.

За окном рассвело. Открылся вид на залив. Погасли гирлянды огней на мосту «Золотые ворота». Верхушки опор моста скрывались в густом молоке утреннего тумана, наплывавшем с открытого моря. Вернее, с Тихого океана.

Он отупел и привык к своей боли. В восемь утра они оба приняли душ, вместе плескаясь под теплой струей. Катя резвилась и веселилась, как ребенок, вслух прикидывая, в какие из сан-францисских значных мест им лучше всего направиться. Он велел ей собраться и пойти домой отдохнуть до пяти часов вечера. Он ей позвонит. Чтоб она к тому времени была готова. Они вместе окупятся в сладкую жизнь. А сейчас у него дела. Он ждет важного посетителя.

Катя, заливаясь счастливым смехом, одевалась. Смеясь, целовала его на прощанье, и ему стоило больших усилий не морщиться, когда она касалась воспаленной щеки.

После ее ухода он быстро уложил вещи, слетел вниз в лифте, подписал все бумаги у администратора гостиницы и, вскочив в такси, попросил шофера быстрее мчаться в аэропорт. Шофер оказался понятливым малым, и они добрались туда так быстро, что еще оставалось время до объявления посадки на самолет.

Вот тогда-то в мутной голове Алекса появилась мысль, что он поступил как свинья, обнадежив и обманув простоватую бесхитростную Катю, прелестную зеленоглазую и огненно-рыжую американскую девочку шотландских и ирландских кровей, и что она будет вечером ждать напрасно его звонка и так никуда не пойдет и просидит до ночи у телефона, а потом будет плакать, как ребенок, которому не дали обещанной игрушки.

Он набрал ее номер, слышал долгие гудки, которые, наконец, вырвали ее из сна, потом ее хриплый голос и радость, когда она узнала, кто звонит. Он сказал ей всю правду. Она не перебивала. Ни вздохом, ни словом. Он сказал, что он — нищий эмигрант. Что он действительно режиссер. Но бывший. Никто не пригласил его на совместный советско-американский фильм и никогда, по-видимому, не пригласит. У него ни гроша в кармане. А за номер в гостинице платят те, кто наняли его на неделю читать скучные лекции наивным американцам о советской внешней политике, сведения о которой он сам черпал из американских газет.

О своей зубной боли он снова умолчал. — Прости меня, Катя... Если можешь.

Трубка долго молчала.

— Ладно, — сказала Катя. — Прощаю. Если для тебя это важно. Хотя ты и подлец, но мужчиной оказался отменным. Американцев я таких не встречала.

Алекс рассмеялся в телефон:

— Дорогая Кэт, спасибо за комплимент. Только, ради Бога, не адресуй его

русскому народу. Я — нерусский. Я — еврей. Из России. Поэтому будет справедливо, если мой сексуальный успех разделят со мной мои соплеменники, евреи.

— Вы не только негодяй, вы еще и националист. Кэт рассмеялась на другом конце провода.

В Питтсбурге перед лекцией ему вырвали зуб с наросшим на корне мешком гноя, и врач-американец удивился, как он смог выдержать такую адскую боль в течение почти суток.

— Вы, русские, — железные люди.

Лекцию Алекс читал с кровавым ватным тампоном в дыре между оставшимися зубами. При этом немножко шепелявил. Слушатели же приписали это русскому акценту лектора.

История, рассказанная Алексом, понравилась мужчинам. Даже старейший Сэм Кипнис, давным-давно отошедший от активных дел в бизнесе, а от сексуальных и подавно, пришел в неожиданное возбуждение и предложил Алексу, когда гости прощались с хозяевами, прогуляться пешком перед сном, благо им было по пути.

Чтобы добраться до эмигрантского клоповника на Западной стороне, нужно было обогнуть Централ-Парк и пройти фешенебельную Сауф-Лещьдарк, состоявшую из самых дорогих отелей, где богатые люди снимали квартиры и жили под охраной вооруженной стражи и объективов телекамер. В одном из этих отелей снимал холостяцкую квартиру стоимостью в полторы тысячи долларов в месяц престарелый Сэм Кипнис. Вторую такую же квартиру он держал в другом отеле на другом конце Америки, в жарком Майами, и жил попеременно, в зависимости от времени года, то там, то здесь.

Сейчас он довольно бодро для своих лет вышагивал рядом с Алексом и, возбужденно жестикулируя, говорил с ним на русском языке, изрядно забытом с тех пор, как он мальчиком, учеником гимназии, покинул родной город Пинск.

— Мой друг, поверьте опытному человеку... я ведь тоже знал женщин... Я переспал... чтоб не соврать... с женщинами, какие только есть на земле... всех национальностей. Вы удивлены? Нет, я не объездил для этого земной шар... их всех имел в одном месте. В одном городе... Есть такой... Рио-де-Жанейро. Там я провел несколько лет... в молодости. И там были бордели по национальному признаку... В одном борделе исключительно польки, в другом — еврейки, в третьем — немки, в четвертом — индианки из племени апачей... отдельно из племени ирокезов... Даже негритянки из Африки тоже были разделены строго по племенному признаку.

Короче, в городе Рио-де-Жанейро я перепробовал женщин всего земного шара... Всех... за одним исключением... Мне не удалось переспать только с голландской женщиной. В голландском борделе я переспал со всеми, кто там был в наличии... и все они, когда их немножко поскрести, оказывались не голландками, а норвежками, польками, кем угодно, но не голландками.

Это меня задело за живое. И, будучи в Европе, я специально заехал в Голландию, посетил не один бордель... и не два... и с тем же результатом. Вы можете себе такое представить? Голландки не занимаются этим ремеслом. И поэтому, если вы меня спросите, что собой представляет голландская женщина, я вам честно признаюсь: не знаю, не пробовал. И если вы думаете, что я что-нибудь помню о других, то глубоко

заблуждаетесь. Ничего, дорогой мой, не помню... Ни лиц, ни тел... ни глаз... ни голосов... Как будто никогда не касался женщины... А сколько я на это денег ухлопал! По тем временам — состояние... Не помню... Единственное, что осталось в памяти... это... что у негритянок какой-то специфический запах... А вот какой запах... убейте, не припомню.

Прощаясь с Алексом у подъезда своего «Эссекс-хауза» на виду у плечистого мордастого портье и под устремленными на них объективами замаскированных полицейских телекамер, Сэм Кипнис тряс своей розовой с бурыми трупными пятнами головой и смот— рел на него слезящимися бесцветными от старости глазами.

— Запомните, что я вам сказал... Женщина — пустой звук... Ничего не остается. Я даже свою покойную жену забыл. А голландки остались для меня загадкой. Самые нравственные женщины на земле. Правда, это когда было? Все в мире изменилось... к худшему. Но если вы надумаете жениться, мой вам совет — купите билет в Амстердам.

Совсем другую реакцию вызвал рассказ Алекса у дам в курилке у Эйба Маргулиса. Они, в отличие от мужчин, не смеялись над его злоключениями в гостинице в Сан-Франциско, где в самый неподходящий момент на него свалилась зубная боль. Миссис Шоу, нервно курившая сигарету, исподлобья, неотрывно, как бы гипнотизируя, рассматривала его и, когда все спускались из курилки в гостиную, как бы ненароком задержалась возле Алекса на узкой лестнице и тихо сказала грудным низким голосом:

— Оставьте мне ваш телефон. У меня имеются связи в мире кино... Возможно, я смогу быть вам полезной.

Она позвонила ему в гостиницу поздно ночью, когда он уже спал на своем жестком матрасе. Он успел за это время забыть и ее имя, и как она выглядит, и поэтому миссис Шоу пришлось долго, с заметной долей раздражения в голосе, объяснять ему, кто она такая.

— Не очень пристойно так легко забывать даму, которой вы были представлены, — выговорила она ему по телефону чуть хрипловатым от излишнего курения голосом. — Тем более что эта дама обещала свою поддержку в поисках нужных связей. Или вы уже устроили свои дела и вам не нужна помощь?

Алекс стал лепетать нечто оправдательное, и по мере того, как он говорил, сознание его окончательно освободилось от сонной паутины, и он вспомнил жену адвоката в салоне у Эйба Маргулиса, средних лет женщину вампирного типа, с мрачным затаенным взглядом черных глаз, глубоко укрытых под густыми бровями, ее прямые черные с проседью волосы и неправильный прикус: выступающую вперед нижнюю челюсть.

— Не нужно оправдываться, — снисходительно сказала она. — Тем более по телефону. Вы — из другого мира. У вас — другая мораль. До сих пор мужчины, которых со мной знакомили, помнили меня. Даже когда я забывала об их существовании. Что вы так тяжело дышите?

— Я дышу нормально, — ответил Алекс и сам услышал в трубке частое сопение. — И если у вас нет насморка, значит, нас подслушивает дежурная на коммутаторе гостиницы. У нее аденоиды, и когда она увлеченно слушает чужие разговоры, начинает сопеть.

В телефоне что-то треснуло, и сопение прекратилось.

— Это замечательно, — рассмеялась миссис Шоу. — Кажется, теперь отличная слышимость. Вот так обычно легко дышится, когда прочистишь нос. Да, так ближе к делу. Вы, конечно, понимаете, что я не для того позвонила, чтоб услышать сопение леди-телефонистки. Есть дело.

И таинственно умолкла.

— Какое? — не выдержал и ухватил наживку Алекс.

— Приедете — узнаете.

— Когда?

— Сейчас... я вам дам адрес. Возьмите такси...

— А не поздно?

— Если б я так считала, то не стала бы вас беспокоить. Я еще раз повторяю, вам нужна моя поддержка?

— Конечно, конечно.

Так вот. Я, как вы догадываетесь, не у себя дома на Лонг-Айленд, а в Нью-Йорке. В Гринич-Виллидж. У своих друзей. Из вашего мира. Из кино. Я им о вас говорила...

— Но... будет ли удобным... беспокоить людей так поздно?

— Не прикидывайтесь наивным. У этих людей день начинается только сейчас, после полуночи. А у вас в Москве богема живет иначе? Потом... мне не пристало вас спрашивать. Снова проступает разница культур... Вы едете? Запишите адрес.

Ехать надо было к черту на рога, через весь Манхэттен, сверху вниз по этому длинному каменному острову, густо застроенному самыми высокими в мире домами. На такси он не стал раскошелиться — потянуло бы долларов на десять. А это — два дня жизни. Даже три. Можно вполне уложиться в три доллара в день. Если варить на плите в своем номере куриные крылышки и пупки

— будет и мясо, и можно запить оставшимся бульоном.

Съехав лифтом в холл, он отдал ключи дежурной с телефонными наушниками на голове, и она презрительно фыркнула под его взглядом.

Алекс спустился в метро. В ржавый и грязный нью-йоркский собвей, насквозь пропахший мочой и совсем не безопасный в это время суток. Внизу на платформе два негра и одна негрятка тупо приплясывали на одном месте, пощелкивая пальцами и лениво отрывая каблуки от заплыванного цементного пола. На скамейке стоял большой черный транзистор и, казалось, подрагивал от горячих знойных ритмов. Даже усеянная окурками платформа вибрировала под ногами у Алекса. Но не от включенного на всю мощь транзистора, а от приближающегося с грохотом и лязгом поезда. Алекс поспешно прошел вперед, чтоб не садиться в тот же вагон, что и эти трое с транзистором.

Когда двери вагона пневматически захлопнулись за его спиной, он обнаружил, что, кроме него, в полупустом вагоне нет ни одного белого лица. Сплошная чернота. Человек десять на разных скамьях. Молодые и старые негры с усталыми сонными лицами, и от этого вид у них был совсем не дружелюбный. Алексу сразу

припомнились многократные репортажи по телевизору об убитых в собвее пассажирах, изнасилованных женщинах. И всегда пойманные убийцы и насильники прикрывали руками свои лица от объектива камеры, и почти всегда эти лица были черными, как и ладони, заслонившие их.

Хозяева города, испуганные ростом преступности под землей, поскрипели, поохали и выжали из тощего бюджета Нью-Йорка еще парочку миллионов долларов, и по ночам в каждом поезде собвея стали патрулировать полицейские. Сотни полицейских торчали под землей, и пассажиры ехали как бы под конвоем. Дожил величайший город мира!

Алекс присел на свободную скамью и стал косить то в один, то в другой конец вагона, надеясь скоро увидеть кряжистую толстозадую фигуру нью-йоркского полицейского, увешанного оружием, патронташем, резиновой дубинкой, радиоаппаратом, металлическими браслетами наручников и связкой ключей. Почему-то у полицейских на поясе висело чудовищно много ключей. Словно для того, чтобы отпирать и запиравать решетчатые двери камер большой тюрьмы. И зады у них были раскормленные, широкие. И ходили они вразвалку, как жирные гуси, в своей темно-синей форме. При взгляде на них возникала мысль, что ударить они могут крепко, внушительно, но бегать, ловить преступника им при таком весе явно не под силу.

Алекс ждал, теряя терпение, когда же наконец появится этот неуклюжий толстый и столь желанный полицейский. А он не появлялся, и Алекс ехал в окружении дремавших черных, и ему казалось, что скоро кто-нибудь из них встанет со скамьи, небрежно подойдет к нему и, оттопырив толстые губы, уставится в его белое, от страха еще сильнее побелевшее лицо. И как он, Алекс, тогда поступит? Будет защищаться один против дюжины? Каждый из них крепче его. Безоружный против ножа, а может быть, и пистолета. Соппротивление бессмысленно. Лишь больше ударов навлечет на себя. А сдаться без боя, как баран, подставить выю под нож было совсем не по-мужски, и Алекса покорило оттого, что такая трусливая мысль пришла ему в голову. Руки и спина покрылись гусиной кожей.

Вагон качался, погромыхая, минуя без остановки промежуточные станции, мелькавшие после черноты за окном белыми кафельными стенками платформ. Этот поезд — экспресс. И пока доберется до остановки и спасительно распахнет пневматические двери, можно много раз умереть: быть зарезанным, застреленным и даже изнасилованным. А что? Среди этих рож немало гомосексуалистов.

Когда у него вспотели ладони и окаменела от напряжения шея, из другого вагона прошел к ним полицейский. С широкой, в темно-синем сукне, спиной, с разошедшимся в стороны низом форменной куртки, потому что куртку распирали большим откормленный зад. Гремели ключи в связке на поясе, позвякивали хромированные кольца наручников, и большая черная дубинка подсакивала при ходьбе, ударяясь о большое толстое бедро.

У полицейского были черные, как в перчатках, кулаки. И черное губастое лицо под козырьком форменной фуражки. Полицейский тоже был негром.

Друзья миссис Шоу жили в самом сердце Гринич-Виллидж, на Кристовер-стрит, улице, известной на весь Нью-Йорк высочайшим процентом гомосексуалистов на душу населения. В этот час, уже за полночь, «голубые» фланировали парочками по узким тротуарам Кристофер-стрит в обнимку, положив друг дружке ладони на

ягодицы. Ягодицы у гомосексуалистов были узкими и выпуклыми. Какая-то смесь мужских и женских признаков. И были они, гомосексуалисты, чем-то похожи друг на друга, как братья. Невзирая на масть, цвет глаз, рост. Что-то в их облике было одинаковое, общее, как у представителей одного и того же подвида млекопитающих. Словно они все были расово идентичными. Одной, какой-то новой национальности. Как бывает у дебилов, монголоидов.

Когда-то Алекс был поражен, увидев в парке целую вереницу юных дебилов лет по двенадцати-тринадцати. Из какой-то лечебницы их вывели под наблюдением воспитателей на прогулку. Маленькие уродцы происходили не только от разных родителей, но и представляли все три главные расы на земле. Там были белые, желтые и одна негритянка. Но выглядели они членами одной семьи, с одинаковыми видовыми признаками: отвисшие, слюнявые нижние челюсти, узкие заплывшие глазки, крохотные лобики на сужающихся кверху головах. Лишь цвет кожи был разным.

Гомосексуалисты, вдыхавшие неостывший и ночью нью-йоркский воздух, были, как на подбор, узкобедрыми, до треска в швах, как гусары в лосины, затянутые в потертые джинсы. Кожаные куртки до талии дополняли эту униформу. Куртки непременно с узеньким меховым воротничком. Даже летом. И желтые ковбойские сапоги, на короткие голенища которых приспущены джинсовые штанины трубочкой. Длинных волос гомосексуалисты не носили. У них были короткие спортивные стрижки. Вроде старомодного «ежика». И неперенные усы.

Они мирно паслись на узких тротуарах, обхватив ладонями ягодицы напарников, и синхронно покачивали станом, обходя груды черных и серых пластиковых мешков с мусором.

Алекс поднялся лифтом к друзьям миссис Шоу. Ему открыла блеклая худая женщина, несомненно, из актрис, судя по испорченной гримом коже лица. В комнате на диванах и пуфах сидело еще несколько мужчин и женщин, не очень молодых и тоже актерского типа, и у каждого на лице была словно каленым железом выжжена откровенная печать неудачников. По крайней мере, так показалось опытному в делах с подобной публикой глазу Алекса.

А в самой глубине у окна в плаще, который она, видно, так и не снимала с момента прихода, стояла она. Миссис Шоу. Женщина-вамп. С седоватой густой гривой, ниспадавшей прямо вдоль щек на плечи и грудь, и угольно-жгучими глазами, запрятыми глубоко под брови. Они недобро мерцали в своих норах и впились в вошедшего Алекса, оценивая и гипнотизируя.

«Привораживает, — подумал, усмехаясь, Алекс. — Вошла в роль коварной соблазнительницы. Лонг-Айленд для Нью-Йорка такая же провинция, как Мытищи для Москвы. Ничто не ново под луной».

Но кое-что все-таки было внове и для него. Миссис Шоу задала игре чрезвычайно бурный темп. Она даже не удосужилась формально познакомить его с обитателями этой квартиры, а лишь представила его всем сразу, назвав «крупным, выдающимся русским режиссером международного класса».

Кто-то хмыкнул, откровенно не поверив миссис Шоу. Но она не собиралась настаивать на точности рекомендации. А просто взяла Алекса крепко под руку и, спросив согласия, от его и своего имени попрощалась со всеми, сказав, что им обоим

некогда и вообще... до следующего раза.

Уже очутившись на улице, на той же Кристофер-стрит, на которой не поубавилось фланирующих гомосексуалистов, Алекс, стараясь не обидеть ее, спросил, к чему такая спешка и где те полезные связи, которые миссис Шоу ему посулила по телефону, подняв в поздний час из постели.

— Вы — варвар, — прожгла она его засверкавшими угольками глаз. — Вы не знаете обхождения с женщинами.

— Но куда мы идем, я могу поинтересоваться?

— Все мужчины до вас были готовы пойти со мной на край света. Не задавая вопросов.

Алекс отказался от попытки выяснить что-нибудь и послушно поплелся рядом с нею, стараясь не отстать от ее быстрого делового шага.

— Хочу внести некоторую ясность, — не глядя на него, быстро, словно рапортуя, заговорила миссис Шоу. — Я — не еврейка. Мой муж-еврей. Я перешла в иудаизм перед брачной церемонией. Среди моих предков коренные американцы — индейцы из племени апачей. А также итальянцы и португальцы.

— Гремучая смесь, — рассмеялся Алекс. — А к чему вы, собственно говоря, мне это излагаете?

— А так. К сведению. Чтоб знать, кто есть кто.

— Следовательно, и мне придется раскрыть свою родословную?

— Не надо. Чего вы стоите, вы уже доказали в Сан-Франциско. — Она метнула на него исподлобья испытующий взгляд. — Таинственная славянская душа.

— Между прочим, в стране, где я родился и где и поныне обитают славянские души, то есть в России, есть гнусный обычай. Если еврей чем-либо прославится, совершит поступок, достойный похвалы, и о нем заговорит пресса, вы никогда не найдете и намек на то, что речь идет о еврее. Его будут называть русским или советским человеком, нашим славным соотечественником, но как черт ладана будут избегать упоминания о его еврейском происхождении. Но пусть попробует еврей оскандалиться, совершить что-либо непристойное, как в первую очередь укажут, что он — еврей, и повторят это неоднократно, чтоб никаких сомнений не оставалось.

— А это вы к чему рассказали?

— Просто так. К сведению.

— Кофе пьете на ночь?

— Мм-м, — замялся Алекс. — Предпочитаю по утрам.

— Отлично. Я вам утром приготовлю кофе. Надо зайти в магазин намолоть. Здесь работают всю ночь.

Она исчезла в дверях магазина, ярко освещенного изнутри и с довольно густой для этого часа толпой покупателей. Алекс остался ждать ее у входа.

Так, значит, утренний кофе включен в программу, — грустно покачал головой Алекс, прикидывая, не послать ли к черту эту предприимчивую американскую дамочку, которая уже дважды указала ему, что он — представитель иной культуры, и,

несомненно, более низкой, чем ее, с Лонг-Айленда, и все же решил не хамить, а посмотреть, что будет дальше, после несомненно заурядного совокупления, которое ему предстоит где-то здесь, в Гринич-Виллидж, в неизвестно чьей постели. Что насчет полезных связей? Кто знает, где затаилась волшебная удача? Вот такая, претендующая на роль пожирательницы мужских сердец, сытая многодетная мещаночка с Лонг-Айленда может вложить в ладонь путеводную нить. А дальше он сам пойдет. Есть еще порох... И сил не занимать. Дали бы возможность показать, на что он способен.

С пачкой едко пахнущего кофе и ломкими хрустящими круассонами в открытом пакете она вышла из магазина, и кивком головы позвала его следовать за ней.

Дальше все было банальным. Вонь узких ободранных коридоров. Большая полупустая комната подруги, уехавшей в Италию и оставившей миссис Шоу ключи, чтоб она время от времени навещала оставленных кошек. О кошках свидетельствовали острые запахи, пропитавшие эти облупленные стены с многочисленными портретами владелицы этих кошек. Миссис Шоу сказала, что она обещающая актриса и уехала в Италию пробоваться в фильме. С портретов глядело немолодое потасканное лицо, которому актерская судьба не могла сулить никаких обещаний. Таких актрис предпенсионного возраста Алекс встречал во множестве и в Москве в Театре киноактера. После сорока жизнь может обещать актрисе лишь одинокую и необеспеченную старость в компании с еле волочащей лапы облезлой кошкой.

Миссис Шоу распахнула единственное пропыленное окно, и с улицы потянуло горечью гниющих в мусорных мешках отбросов. Затем согрела кофе, и этот аромат перебил остальные запахи, и Алексу даже показалось, что стало легче дышать. Она на ходу, обжигаясь, заглотала чашечку кофе, еще раз предложив Алексу, но, натолкнувшись на его категорический отказ, не стала настаивать.

— Отлично. Выпьем утром. А я пью в любое время дня и ночи.

Постель состояла из покрытого одеялом широкого квадратного матраса, положенного прямо на пол. У изголовья к стене прижались две подушки в цветных наволочках.

— Я — в ванную, — сказала миссис Шоу. — А вы располагайтесь.

Скоро зашумела вода за стеной. Алекс почувствовал невероятную усталость и разделся, уже сонный, небрежно бросив одежду на пол у матраса. Откинул одеяло и шлепнулся спиной на мятую простыню не первой свежести.

Вода за стеной шумела. С улицы в комнату проникал усыпляющий гул из решеток метро. Алекс боролся с сонливостью, насильно держал глаза открытыми и чувствовал, что все больше и больше увядает, проваливаясь в вязкий сон.

Даже явление из ванной голой миссис Шоу, обмотавшей лишь бедра белым мохнатым полотенцем, не пробудило в нем бодрости. Алекс смотрел на ее покатые плечи с каплями воды на них, на еще крепкие, но основательно повисшие груди и с тревогой думал о том, что ему будет очень трудно возбудиться и привести себя в боевое состояние, когда она ляжет рядом с ним.

Но она не спешила ложиться. Сняла с бедер полотенце, посветив Алексу незагорелым и довольно вялым, как гесто, задом, и постелила полотенце на пол, как коврик.

— Немножечко йоги, — пояснила она и, нагнувшись, уткнулась головой в полотенце, уперлась руками и вздернула вверх ноги, разведя их чуть-чуть в стороны и открыв нелюбопытному взгляду Алекса за мохнатым черным лобком синий с розовым отливом клитор, похожий на улитку в раскрытой раковине. И так застыла, разметав по белому полотенцу черную с проседью гриву.

Застыла надолго. Потому что Алекс как ни силился, не смог превозмочь сон и выключился. Когда миссис Шоу растормошила его, он по часам-будильнику в ногах матраса определил, что она простояла на голове в своей позиции йоги почти пятнадцать минут. Миссис Шоу склонилась над ним, и ее груди болтались у его подбородка.

Алекс снова закрыл глаза.

— Вы что, спать сюда пришли? — услышал он гневный возглас миссис Шоу.

— Продолжайте свои упражнения, — сонно пробормотал Алекс. — Я сплю.

— Спать будете дома... в своей гостинице.

— И там тоже, — безвольно бормотал Алекс. Миссис Шоу стала трясти его за плечи, голова его замоталась на подушке, и он нехотя разлепил глаза.

— Отвяжитесь от меня. Хам!

— Пусть буду хам. Хоть час дайте вздремнуть.

— Не позволю! Вы мне нужны сейчас.

— А вы... мне... не нужны.

— Господи, — заломила руки, стоя на коленях на краю матраса, миссис Шоу, и ее густые прямые волосы делали ее похожей на американскую индианку, молящуюся своему языческому богу, — нельзя вступать в контакт с человеком иной культуры.

— О какой культуре вы бормочете? — рассердился Алекс. — Ваша-то культура в чем? Ложиться к мужчине без чувства, без волнения. В первый раз идти с ним в постель и перед этим постоять пятнадцать минут на голове, потому что это полезно для здоровья? Ну и пусть вас ебут йоги.

— Дикарь! — презрительно сказала миссис Шоу. — Единственное, что вы, русские, умеете, это оскорблять женщину. Я это читала где-то.

— Мы еще умеем посылать на хуй. Поняла, сука? Алекс проснулся окончательно.

У миссис Шоу засветились глаза:

— О, у вас сон прошел? Не будем пререкаться. Удовлетворите меня.

И она привалилась к нему, сплющив обе груди на его шее и лице, и задышала часто.

— Ничего не получится, — замотал головой Алекс. — Я так не умею.

— Но вы должны обслужить меня.

— Как это... обслужить? — оттолкнул ее Алекс. — Что вы несете? Уж и такую вещь, как воспетая поэтами близость мужчины и женщины... вы перенесли в сферу обслуживания... как мойку автомобилей и смену масла в моторе? Как я вас должен обслужить? Поясните мне мои обязанности.

— Если у вас не стоит и вы — импотент, то есть другие средства удовлетворить женщину... Пальцы... Язык...

— Заткни себе свой грязный язык в жопу! — по-русски сказал Алекс и поднялся на матрасе, снова перейдя на английский. — Дорогая миссис Шоу, обслуживать я вас не намерен. Для этого у вас есть рогатый муж. Адвокат. Все! А я ложусь спать.

— Нет уж! Спать я вам не позволю. Я сойду с ума, всю ночь созерцая ваше бесполезное, ни на что не способное тело. Уйдите! Оставьте меня одну. Это была ошибка. Мы — разных культур.

Алексу захотелось всласть, на много колен, изматериться по-русски. Но вместо этого он с мрачным лицом поднялся и стал одеваться. Перспектива переть обратно в метро так поздно не улыбалась ему. Голая миссис Шоу стояла у окна, демонстративно повернувшись к нему спиной, и не шевелилась, когда он уходил. В темной прихожей из-под ног шмыгнула, завизжав, кошка, и только тогда он услышал миссис Шоу:

— Варвар! Только зубная боль делает вас мужчиной!

Алекс вдруг усмехнулся.

— У меня к вам одна просьба, миссис Шоу. Свое недовольство мною, пожалуйста, не переносите на всех евреев. Вы же меня считаете загадочной славянской натурой? Не так ли? Так пусть братья славяне делят со мной не только мои успехи, но и поражения.

Он вышел, хлопнув дверью, и побрел вонючим коридором к выходу на улицу.

Гомосексуалистов на Кристофер-стрит поубавилось. Только редкие парочки обнявшихся мужчин, виляя бедрами, плелись впереди.

И вагон метро был пуст. Один негр сидел в другом его конце и удивленно и даже испуганно посмотрел на отважившегося спуститься в такой час белого. Вагонная качка стала его убаюкивать, и он думал о том, чтоб не проспять свою остановку.

МОЙ ДЯДЯ

Евреи, как известно, не выговаривают букву «р». Хоть разбейся. Это

— наша национальная черта, и по ней нас легко узнают антисемиты.

В нашем городе букву «р» выговаривало только начальство. Потому что оно, начальство, состояло из русских людей. И дровосеки, те, что ходили по дворам с пилами и топорами и нанимались колоть дрова. Они были тоже славянского происхождения.

Все остальное население отлично обходилось без буквы «р».

В дни революционных праздников — Первого мая и Седьмого ноября — в нашем городе, как и во всех других, устраивались большие демонстрации, и русское начальство с трибуны приветствовало колонны: — Да здравствуют строители коммунизма!

Толпы дружно отвечали «ура», и самое тонкое музыкальное ухо не могло бы уловить в этом крике ни единого «р».

Через город протекала река Березина, знаменитая не только тем, что на ее берегах родился я. Здесь когда-то Наполеон разбил Кутузова, а потом Кутузов — Наполеона. Здесь Гитлер бил Сталина, потом Сталин — Гитлера.

На Березине всегда кого-то били. И поэтому ничего удивительного нет в том, что в городе была улица под названием Инвалидная. Теперь она переименована в честь Фридриха Энгельса — основателя научного марксизма, и можно подумать, что на этой улице родился не я, а Фридрих Энгельс.

Но когда я вспоминаю эту улицу и людей, которые на ней жили и которых уже нет, в моей памяти она остается Инвалидной улицей. А среди ее обитателей почему-то первым приходит мне на ум мой дядя.

Его звали Симха.

Симха — на нашем языке, по-еврейски, означает радость, веселье, праздник — в общем, все, что хотите, но ничего такого, что хоть отдаленно напоминало бы моего дядю.

Возможно, его так назвали потому, что он при рождении рассмеялся. Но если так и случилось, то это было в первый и последний раз. Никто, я сам и те, кто его знали до моего появления на свет, ни разу не видели, чтобы Симха смеялся. Это был, мир праху его, унылый и скучный человек, но добрый и тихий.

И фамилия у него была ни к селу ни к городу. Кавалерчик. Не Кавалер или, на худой конец, Кавалерович, а Кавалерчик. Почему? За что? Сколько я его знал, он на франта никак не походил. Всегда носил один и тот же старенький, выцветший и заштопанный в разных местах тетей Саррой костюм. Имел внешность самую что ни на есть заурядную, и одеколоном от него, Боже упаси, никогда не пахло.

Возможно, его дед или прадед слыли в своем местечке франтами, и так как вся их порода была тщедушной и хилой, то царский урядник, когда присваивал евреям фамилии, ничего лучшего не смог придумать, как Кавалерчик.

Симха Кавалерчик. Так звали моего дядю. Нравится это кому-нибудь или нет — это его дело. И дай Бог ему прожить так свою жизнь, как прожил ее Симха Кавалерчик.

На нашей улице физически слабых людей не было. Недаром все остальные улицы называли наших — аксоным, то есть бугаями, это если в переносном смысле, а дословно: силачами, гигантами.

Ну, действительно, если рассуждать здраво, откуда у нас было взяться слабым? Один воздух нашей улицы мог цыпленка сделать жеребцом. На нашей улице, сколько я себя помню, всегда пахло сеном и укропом. Во всех дворах держали коров и лошадей, а укроп рос на огородах сам по себе, как дикий, вдоль заборов. Даже зимой этот запах не исчезал. Сено везли каждый день на санях, и его пахучими охапками был усеян снег не только на дороге, но и на тротуаре.

А укроп? Зимой ведь открывали в погребах кадушки и бочки с солеными огурцами и помидорами, и укропу в них было, по крайней мере, половина. Так что запах стоял такой, что если на нашей улице появлялся свежий человек, скажем, приезжий, так у него кружилась голова и в ногах появлялась слабость.

Большинство мужчин на нашей улице были балагулами. То есть ломовыми

извозчиками. Мне кажется, я плохо объяснил, и вы не поймете.

Теперь уже балагул нет в помине. Это вымершее племя. Ну, как, например, мамонты. И когда-нибудь, когда археологи будут раскапывать братские могилы, оставшиеся от второй мировой войны, где-нибудь на Волге, или на Днестре, или на реке Одер в Германии и среди обычных человеческих костей найдут широченные позвончики и, как у бегемота, берцовые кости, пусть они не придумывают латинских названий и вообще не занимаются догадками. Я им помогу. Это значит, что они наткнулись на останки балагулы, жившего на нашей улице до войны.

Балагулы держали своих лошадей, и это были тоже особые кони. Здоровенные битюги с мохнатыми толстыми ногами, с бычьими шеями и такими широкими задами, что мы, дети, впятером сидели на одном заду. Но балагулы были не ковбои. Они на своих лошадей верхом не садились. Они жалели своих битюгов. Эти кони везли грузовые платформы, на которые клали до пяти тонн. Как после такой работы сесть верхом на такого коня?

Когда было скользко зимой и балагула вел коня напоить, то он был готов на своих плечах донести до колонки этого тяжеловоза. Где уж тут верхом ездить.

Скоро после революции евреев стали выдвигать на руководящую работу, и некоторые балагулы тоже поддались соблазну: стали тренерами по тяжелой атлетике и били рекорды, как семечки щелкали. Чемпион Черноморского флота по классической борьбе Ян Стрижак родом из нашего города. Его отец, балагула Хаим Кацнельсон, жил на нашей улице. И не одобрял сына. Может быть, поэтому Ян Стрижак никогда наш город не посещал.

Вы можете меня спросить: как же так получается, если на минуточку поверить хоть одному вашему слову, что на вашей улице мог быть такой физически слабый человек, как Симха Кавалерчик.

На это я вам отвечу. Во-первых, Симха Кавалерчик родился не на нашей улице и даже не в нашем городе. Он родом откуда-то из местечка. Во-вторых, он, если называть вещи своими именами, совсем не мой дядя. Он стал моим дядей, женившись на моей тете Сарре. А тетя Сарра, про всех добрых евреев будь сказано, в семьдесят лет могла принести сто пар ведер воды от колонки, чтоб полить огород, а после этого еще сама колола топором дрова.

Но мы, кажется, не туда заехали. Я же хотел рассказать про моего дядю Симху Кавалерчика. И эта история не имеет никакого отношения к физической силе. Речь пойдет о душе человека. А как говорил один великий писатель: глаза — зеркало души. У Симхи глаза были маленькие, как и он сам, но такие добрые и такие честные, что я их до сих пор вижу. Должно быть, этими самыми глазами он и завоевал сердце моей тети Сарры.

Было это вскоре после революции. Шла гражданская война, и наш город, как говорится, переходил из рук в руки. То белые займут его, то красные, то зеленые, то немцы, то поляки. Правда, погромов у нас не было. Попробуй задеть еврея с нашей улицы. Конец. Можете считать, что война проиграна. Тут и артиллерия и пулеметы не помогут.

Мне моя тетя Рива рассказывала, что в ту пору, а она тогда была девушкой весьма милостивой, ее пошел провожать с танцев польский офицер. Оккупант. В шпорах, при

сабле, на голове четырехугольная конфедератка с белым орлом, на груди белые витые аксельбанты. Кукла, а не офицер. И он на минутку задержался у наших ворот. Нет, никаких глупостей он себе не позволял. Он просто хотел продлить удовольствие от общения с тетей Ривой. Но моему дяде Якову, ее брату, это показалось уже слишком. Он набрал лопатой целую гору свежего коровьего навоза и через забор шлепнул все это на голову офицеру. На конфедератку, на аксельбанты.

Поляки — народ гордый, это известно. А польский офицер — тем паче. Он выхватил из ножен саблю и хотел изрубить дядю Якова на куски, тем более что дядя Яков был еще не вполне самостоятельным, ему исполнилось лишь тринадцать лет. И что же вы думаете? Тетя Рива, как у ребенка, вырвала у офицера его саблю и этой самой саблей, но, конечно, плашмя, врезала ему по заднице так, что он промчался вдоль всей улицы, роняя с конфедератки и погонов куски коровьего навоза, и больше у нас носа не показывал.

Эта сабля потом валялась у нас на чердаке, и я играл ею в войну. На эфесе сабли было написано латинскими буквами, и я прочел, когда мы в школе стали проходить иностранный язык, что там написано. Это было имя владельца сабли. Пан Боровский. Если он еще жив где-нибудь, этот пан Боровский, он может из первых рук подтвердить все мною сказанное. .

Итак, шла гражданская война. Симхе Кавалерчику было тогда лет восемнадцать. Узкоплечий, со впалой грудью, сидел он целыми днями, согнувшись, над сапожным верстаком у хозяина в подвале и весь мир видел через узкое оконце под потолком. Мир этот состоял из ног и обуви. Больше ничего в это оконце не было видно. Он видел разбитые, подвязанные веревками ботинки красных, крестьянские лапти и украденные лакированные сапоги зеленых, подкованные тяжелые сапоги немцев, щегольские, как для парада, бутылками, сапоги поляков.

Все это мельтешило перед его глазами, когда он их на миг отрывал от работы, и он снова начинал стучать молотком, прибывая подметки к старой, изношенной обуви городских обывателей, вконец обнищавших за время войны.

Был он, как я уже говорил, слабым и тихим, грамоты не знал, политикой не интересовался. Он старался лишь заработать себе на кусок хлеба и пореже высываться на улицу, где была неизвестность, где было страшно и где каждый мог его избить. Потому что каждый был сильнее его и крови жаждали почти все.

И может быть, таким бы он остался на всю жизнь, если б однажды, подняв воспаленные глаза от верстака, он не увидел в оконце необычные сапоги, разжегшие его любопытство до предела. А как вы знаете, ни один еврей не может пожаловаться на отсутствие любопытства. И Симха не был исключением. Он поднял глаза и замер. Такого он еще не видел. Хромовые, пропыленные сапоги стояли перед его глазами, с лихо отвернутыми краями голенищ, и по всей коже нацеплены вкривь и вкось, как коллекция значков, офицерские кокарды. Не сапоги, а — выставка.

Пришедший с улицы хозяин, злой и скупой, которого Симха боялся больше всего на свете, поведал своим подмастерьям, кто такие обладатели диковинных сапог.

В город вступила 25-я Чонгарская Кавалерийская дивизия из Первой Конной армии Буденного, самая свирепая у красных. Это они, срубив в бою голову белому офицеру, срывают с его фуражки кокарду и цепляют ее на голенище сапога и по количеству

кокард на своих сапогах ведут счет убитым врагам. И еще сказал хозяин, они приказали всему населению собраться на площади, где будет митинг. Сам хозяин туда не пойдет, не такой он дурак, и им не советует, если им дорога голова на плечах.

Симха так не любил своего хозяина и так ему хотелось хоть как-нибудь насолить ему, что поступил как раз наоборот. Первый раз открыто ослушался его. И этот раз оказался роковым.

Он вылез из подвала на свет божий, вдохнул впалой грудью свежего воздуха и не без робости оглянулся вокруг.

На улице заливались гармошки, стоял гвалт, творилось невообразимое. Красные кавалеристы с выпущенными из-под папах чубами, скуластые, с разбойничьими раскосыми глазами, плясали с еврейскими девицами, и те, хоть по привычке жеманились и краснели, нисколько их не боялись. И это было впервые. Богатых не было видно, как ветром сдуло, один бедный люд заполнил улицу и веселился и галдел вместе с кавалеристами. И это Симха тоже увидел впервые.

Что-то менялось в жизни. Пахло чем-то новым и неизведанным.

— Все равны! Не будет больше богатых и бедных! Евреи и русские, простые труженики — один класс, одна дружная семья! Мир — хижинам, война — дворцам!

Симха слушал хриплые пламенные речи на митинге, и у него кружилась голова. И он поверил горячо и до конца. Со всей страстью чистой и наивной, тоскующей по справедливости души.

В подвал к хозяину он уже не вернулся.

Когда из нашего города на рысях в тучах поднятой пыли уходили на фронт эскадроны 25-й Чонгарской дивизии, среди лихих кавалеристов, ловко гарцевавших на бешеных конях, люди увидели нелепую, жалкую фигурку, еле державшуюся на лошади. Это был Симха Кавалерчик. Еврейский мальчик, хилый и тщедушный, боявшийся всего на свете — и людей и лошадей. Не помня себя, как во сне, он записался добровольцем к Буденному, и никто не прогнал, не посмеялся над ним. Назвали словом «товарищ», нацепили на него тяжелую саблю, нахлобучили на голову мохнатую папаху, сползавшую на глаза, и в первый раз в жизни он вскарабкался на спину коню, затрясся, закачался в седле, не попадая ногами в стремяна, судорожно уцепившись за поводья, и в клубах пыли, под гиканье и свист, исчез, растворился в конной лавине, уходившей из нашего города на Запад, против польских легионов Пилсудского.

Нет, мой дядя не погиб. Иначе мне было бы нечего больше рассказывать. Он вернулся в наш город, когда отгремела гражданская война. Вернулся как из небытия, когда о нем уже все забыли.

Как он выжил, как уцелел — одному Богу известно. Рассказчик он был неважнецкий, и выжать из него что-нибудь путное не было никакой возможности. А кроме того, он вернулся с войны безголосым. Как я понял с его слов, он сорвал голос во время первой кавалерийской атаки. Он мчался на своем коне вместе со всеми, размахивая саблей, и не видел ничего вокруг. Все его силы ушли лишь на то, чтоб не свалиться с коня. Он ошалел от страха и вместе со всеми кричал диким, истошным, звериным криком. Но, должно быть, кричал громче всех, потому что навсегда повредил голосовые связки, и долго потом вообще разговаривать не мог, и до конца

жизни издавал какие-то сиплые звуки, когда хотел что-нибудь сказать.

Он ни на грош не окреп на войне. Остался таким же тощим и хилым. Да вдобавок стал кривоногим, как все кавалеристы, и широкие кожаные галифе, в каких он вернулся домой, превращали его ноги в форменное колесо. Привез он с фронта кроме каменных мозолей, набитых на худых ягодицах от неумения сидеть в седле, также десяток русских слов, среди которых были и непристойные ругательства, и такие диковинные выражения, как «коммунизм», «марксизм», «экспроприация». От первых он быстро отвык, потому что был очень кроткого нрава и не мог обидеть человека, но зато вторые произносил часто и не всегда к месту, и в глазах у него при этом появлялся такой горячечный блеск, что спорить с ним просто не решались.

Он вернулся большевиком на все сто процентов, верующим в коммунизм, как ни один раввин в свой Талмуд. Больше ничего для него на свете не существовало. Он был готов не есть, не пить, не спать, если это только нужно для того, чтобы коммунизм был здоров и не кашлял. Ни одна мать так не любит своего ребенка, как он любил свою идею. Он был готов заживо съесть любого, кто был против, хотя человек он был, повторяю, совсем не кровожадный, а добрый и честный. Но такой честный, что становилось тошно. И в первую очередь его семье, то есть моей бедной тете Сарре, которая вышла за него не знаю почему. То ли из-за кавалерийских галифе, то ли потому, что после войны вообще не хватало женихов и она могла засидеться в девках. А может быть, и я этого не исключаю, тут не обошлось и без задней мысли. Ведь власть в России взяли большевики, а Симха был чистокровным большевиком, с такими заслугами, и, став его женой, тетя Сарра рассчитывала выбиться в люди, быть ближе к пирогу, когда его будут делить победители.

Не знаю. Это все догадки, предположения. Тетя Сарра выросла в такой бедности и нищете, что не приведи Господь, и, конечно, хотела, чтоб свет загорелся и в ее оконце. А большевик Симха Кавалерчик, как никто другой, имел возможность зажечь этот свет. Новая власть была — его власть. Он сам был этой властью.

Кругом начиналась мирная жизнь, то есть строительство первой фазы — социализма. Люди ожили, зашевелились, стали поднимать головы, принохиваться.

На нашей улице жил народ предприимчивый. Как только новая власть не прижимала их налогами, ничего не выходило. Финансовый инспектор хоть был не с нашей улицы, но ведь тоже человек. Если положить ему в лапу, он спокойно закрывал глаза на многое. Недаром говорится: не подмажешь — не поедешь, не обманешь — не проживешь. И люди жили. И даже богатели. И строили новые дома. И покупали мебель. И широкие затылки у балагул становились все багровей и зады у их жен отрастали таких размеров, что враги лопались от зависти.

Симха Кавалерчик дома не построил. И мебель не купил. Не было на что. Он один на нашей улице не обманывал свое советское государство и жил на сухой зарплате. И при этом он занимал такой высокий пост, какой никому на Инвалидной улице не снился. Он был заместителем директора мясокомбината, а мясокомбинат был первой стройкой социализма в нашем городе и еще долгие годы оставался единственным крупным промышленным предприятием. На этой должности Симха оставался всю жизнь: и до второй мировой войны, и после. Заместитель директора.

Его бы с радостью поставили директором, но он до конца своих дней оставался малограмотным. Понизить же в должности, то есть снять с заместителей, было бы

кошунством, равносильным тому, как если бы плюнуть в лицо всей большевистской партии. Потому что такого большевика, как Симха Кавалерчик, в нашем городе не было и, видать, никогда уже не будет. И потом, он был не просто большевик, а очень честный человек и работа была для него — все.

Сказать, что Симха любил свой мясокомбинат больше жены и детей, — это ровным счетом ничего не сказать. Я не ошибусь, если скажу, что, кроме мясокомбината, для него ничего не существовало. За исключением, может быть, положения трудящихся в странах капитала, которое он принимал очень близко к сердцу, и мировой революции, которую он ждал со дня на день и так и не дождался.

Мясокомбинат был, как пишут в газетах, его любимым детищем. И хоть Симха был начальством, а начальству, как известно, положено сидеть в кабинете, никто никогда Симху не видел за письменным столом. Он делал любую работу наравне со всеми рабочими. Копал ямы, ставил столбы, клал кирпичи, когда возводили стены, своими узкими плечиками подпирал многотонные машины, когда их под крики «Эй, ухнем!» устанавливали в цехе, и сердце его каждый раз обливалось кровью при мысли, что по неосторожности сломается какой-нибудь винтик, потому что машины эти были куплены за границей, на золото, а государственная копейка для Симхи была дороже своей собственной.

Своей же собственной копейки Симха попросту не имел. Потому что то, что он приносил домой в получку, были не деньги, а — слезы. И такие тощие, что в них даже не чувствовалось вкуса соли.

Тогда еще не было на комбинате столовой, и в обеденный перерыв рабочие доставали принесенную из дома снедь и ели тут же в цехе. Рвали зубами куриные ножки, запивали из бутылок своим молоком и с ленивой вежливостью слушали речи моего дяди. Он в обеденный перерыв не обедал. Из дому он мог принести только дырку от бублика и, как говорится, от жилетки рукава. Натощак, с урчащим от голода, впавшим животом, Симха использовал обеденный перерыв для агитации и пропаганды. Наслушавшись пылких речей в Первой Конной Буденного, он кое-что из них усвоил на всю жизнь и в обеденный перерыв, голодный, рассказывал жующим людям сипло и безголосо, но с пламенной страстью, о светлом будущем, каковое их ждет при коммунизме, когда у всех всего будет вдоволь и все люди станут братьями.

Строители коммунизма в деревенских лаптях и балагульских зипунах рвали крепкими зубами свое, частное, сало и куриные ножки, пили с бульканьем прямо из горлышек свое, частное, молоко и — вы не поверите — верили ему. Не так тому, что он говорил, а верили лично ему, Симхе Кавалерчику. Потому что не поверить в кристальную честность этого скелета с пылающим взором было невозможно.

Моя тетя Сарра, единственная из сестер сделавшая приличную партию, выйдя замуж за большевика, стала самой несчастной женщиной на свете. Так говорила моя мама. И так говорила вся Инвалидная улица.

Судите сами. Все кругом строятся, заводят мебель, живут как люди и желают революции долгих лет жизни, потому что при царе все было частное и там не украдешь и ничего не присвоишь, а теперь свобода — бери, тащи, хватай, только не будь шлимазл и не попадайся. А тетя Сарра? Не только своего дома не построила, но даже и не получила квартиру в многоэтажном Доме Коммуны, куда вселились исключительно семьи большевиков. Ее муж, Симха Кавалерчик, категорически

отказался писать заявление и просить в этом доме квартиру. Он сказал тете Сарре, что сгорит от стыда, если поселится там. Потому что в стране еще много бездомных, и он согласится взять квартиру только последним, когда у всех остальных уже будет крыша над головой. Иначе, объяснял своей глупой жене мой дядя, для чего было делать революцию и заваривать всю эту кашу?

И они снимали на нашей улице комнату в чужом доме и платили за нее хозяину деньги из сухой зарплаты моего дяди. Что после этого оставалось на жизнь? Я уже говорил — слезы. Но Симха Кавалерчик не унывал. У него даже появились дети. Двое. Сын и дочь. Мои двоюродные брат и сестра. И по настоянию коммуниста отца им были записаны такие имена, что вся Инвалидная улица потом долго пожимала плечами и закатывала глаза. Мальчика назвали Марлен, а девочку — Жанной. В честь революции. Имя Марлен — это соединенные вместе, но сокращенные фамилии вождей мирового пролетариата-Маркса и Ленина. Марлен. А Жанной девочку назвали в честь французской коммунистки Жанны Лябурб, поднявшей восстание французских военных моряков в Одессе во время гражданской войны.

Жанну и Марлена даже при таких именах все же надо было чем-то кормить и во что-то одевать. Этого Симха не учел. Не потому, что он был плохим отцом. Просто было некогда.

Строительство социализма вступило в новую фазу. Начиналась коллективизация. Это значит, у крестьян отбирали всю землю и скот, и все это объединяли, делали общей собственностью, чтобы не было эксплуатации и все жили одинаково счастливой жизнью. Но крестьяне этого не понимали и держались за свою землю зубами. И эту землю приходилось вырывать с кровью. Кровь по деревьям лилась рекой. Коммунисты расстреливали упрямых непослушных собственников, которые почему-то никак не хотели жить счастливой жизнью в колхозах, а те в ответ стреляли в коммунистов из-за угла, резали их по ночам ножами, рубили топорами.

Время, ничего не скажешь, было веселое.

Из городов на борьбу с несознательным крестьянством отправляли коммунистов. На нашей улице жил один коммунист. Симха Кавалерчик. И он в числе первых загремел на коллективизацию. Добровольно. Никто его не гнал. Симха Кавалерчик всей душой хотел счастья беднейшему крестьянству и, вооруженный револьвером, отправился в глушь, в самые далекие деревни, уламывать, уговаривать мужиков вступить в колхоз и стать наконец счастливыми.

С грехом пополам выговаривая русские слова, с ужасающим еврейским акцентом, безголосый, он забирался к черту на рога, где до него зарезали всех присланных в деревню коммунистов, и, размахивая револьвером, ходил по хатам, сгонял людей на сходку и в прокуренной душной избе говорил пламенные большевистские речи.

И вот представьте себе на минуточку такую картину.

Деревенская изба. Ребристые, бревенчатые стены, тяжелые балки под низким потолком. Маленькие оконца промерзли насквозь. На дворе воеет вьюга, стонет лес на десятки верст кругом.

В избу набилось много мужиков и баб. Сидят в овчинных тулупах, смолят махорку и недобро глядят из-под мохнатых бараньих шапок на тщедушного человека с еврейским носом, нехристя, мельтешащего перед ними в красном углу, под иконой

Николы-угодника, и тусклый огонек лампы кидает от него нервные тени на их потные, красные от духоты и злобы лица.

В этой глуши еще с царских времен еврея за человека не считали, а коммунистов ненавидели люто. И вот их вынуждают слушать несвязные нерусские речи и терпеть и еврея и коммуниста.

Бабы, вникая в сиплую, сбивчивую речь моего дяди, глядя в его горящие огнем глазки, когда он расписывал им, как они счастливо будут жить в колхозе, если послушаются его, Симху Кавалерчика, и сделают все, как предписано партийной инструкцией, эти бабы плакали, плакали от бабьей жалости к нему. Уж они-то знали, что ждет этого юродивого, этого безумного праведника через час-другой, когда он, весь в поту, выйдет из избы на мороз. Топор в спину. Или колом по голове. Не с ним первым здесь так расправлялись. А те были мужики в теле, не то что этот, извините за выражение— соплей перешибешь.

Ничего не скажешь, хорошенькая картинка, скажете вы, аж мороз по коже. И он что, не боялся? На это я вам отвечу. Нет. Можете трижды плюнуть мне в глаза, он не боялся. Потому что если бы он боялся, он бы оттуда живым не ушел. И умер бы даже не от топора, а от страха.

Он ничего не боялся, потому что ни о чем не думал, кроме одного: он коммунист и должен выполнить задание партии. Любой ценой. Даже ценой своей жизни, которую не ставил ни в грош, если это нужно было для дела революции. Теперь вы понимаете?

Целый месяц от него не было ни слуху ни духу. Целый месяц он жил как в волчьем логове. Спал в этих избах под иконами и видел коммунистические сны. Как загорятся под прокопченными потолками лампочки Ильича, так тогда называли электрические лампы, как загудят в полях трактора и как счастливые крестьяне живут не тужат и водят хороводы на лесных полянах.

А кругом бушевала вьюга и стонал лес. И топор, предназначенный ему, был отточен до блеска.

Вы не поверите, но он вернулся живым. Больше того. В той деревне был создан колхоз, и его не назвали именем Симхи Кавалерчика, на мой взгляд, только потому, что это имя не совсем подходило для названия колхоза. Колхоз назвали именем Сталина, и мужики, которых сумел убедить мой дядя, до сих пор ждут, когда же наконец наступит счастливая жизнь, какую он так искренне обещал.

Правда, со временем кое-что сбылось из того, что он им говорил. Загорелись лампочки Ильича, загудели в полях трактора, и колхозники даже стали водить хороводы, когда начальство этого требовало. А счастья, как говорится, как не было, так и нет. Но тут уж не вина моего дяди. Он очень хотел всех осчастливить. Оказалось же, что даже Карл Маркс, которому полагалось бы быть немножечко дальновидней моего дяди, не смог всего предусмотреть.

Он вернулся и, как ни в чем не бывало, назавтра уже снова сипел речи на своем мясокомбинате. Шли годы. Росли дети. Тетя Сарра жила хуже всех, и мы ей давали в долг и не просили возвращать. Все жалели и ее и детей и смотрели на Симху Кавалерчика как на малахольного и ждали, чем это все кончится.

Все эти годы он ходил в одном и том же одеянии, в каком вернулся с гражданской войны. Ботинки были сто раз залатаны, штаны и китель — штопка на штопке. Но

Симха не тужил. Он даже не замечал, во что одет, и проходил бы в этом еще двадцать лет, если б не случилась вторая мировая война и его не призвали в армию. Там ему, как положено, выдали казенное обмундирование, и он, наконец, расстался со своей ветошью и стал выглядеть прилично.

Он ушел на фронт и четыре года, пока шла война, не знал, где его семья и что с ней. Он знал, что немцы убивают всех евреев подряд, а так как наш город был оккупирован, то, естественно, полагал он, ни жены, ни детей нет в живых. Сказать, что он не горевал, нельзя. Он был мужем и отцом и, вообще, добрым человеком. Но все его существо было встревожено мыслями более широкого масштаба. Он никак не мог допустить, чтоб Советский Союз проиграл войну и погибло дело революции. Так что для тоски по семье не оставалось времени.

Симха Кавалерчик кончил войну в Берлине в звании майора. Он был политическим работником в армии и не околачивался в тылу, а торчал в самых опасных местах, на передовой, и бежал в атаку вместе с пехотой, как рядовой солдат, забывая, что он — майор и ему положено быть поближе к штабу. Я думаю, что его любили солдаты. Невзирая на то, что был не силен в грамоте, а может быть, именно потому, невзирая на сильнейший еврейский акцент и сиплый, неслышный голос, но может быть, именно это вызывало сочувствие к нему, даже сострадание.

Он вернулся в наш город живым и невредимым, в новом офицерском костюме тонкого английского сукна, и на кителе было столько орденов и медалей, что они не умещались на узкой груди и бронзовые кружочки наезжали один на другой. Сразу замечу, что все свои награды он тут же снял и больше их на нем никто не видел. Поступил он так из скромности, и мне он потом говорил, что наградами нечего гордиться и козырять ими. Он остался жив, а другие погибли, и его ордена могут только расстраивать вдов.

Свою семью он застал целехонькой, был немало тому удивлен и, конечно, обрадован. После войны был острый жилищный кризис, и они снова, как до войны, ютились у чужих людей.

Война нисколько не отрезвила моего дядю. Он восстановил из руин мясокомбинат и стал опять заместителем директора. Комбинат выпускал прекрасную, высоких сортов, сухую колбасу, но в магазинах ее никто не видел. Она вся шла на экспорт. И Симха — хозяин всего производства ни разу не принес домой ни одного кружка этой колбасы. Он потом признался мне, что лишь попробовал на вкус, когда был назначен в комиссию по дегустации.

А жизнь в городе понемногу приходила в норму. Люди строились, покупали мебель и хватали все, что попадало под руку. Одними идеями мог быть сыт только мой дядя Симха Кавалерчик.

На мясокомбинате воровали все. Рабочие уносили за пазухой, в штанах, под шапкой круги колбасы, куски мяса, потроха. Вооруженная охрана, выставленная у проходных, обыскивала каждого, кто выходил из комбината. Воров, а были эти воры вдовами и инвалидами войны, ловили, судили, отправляли в Сибирь. Ничего не помогало. Мясо и колбаса продолжали исчезать. Потом открылось, что и сама охрана ворует.

У Симхи Кавалерчика земля уходила из-под ног. Вечно голодный, совсем усохший,

он грозил, требовал, умолял людей не терять человеческий облик, быть честными и не воровать. Ведь осталось ждать совсем немного, и мы построим коммунизм, и тогда эти проблемы сами по себе отпадут, всего будет вдоволь и они, эти люди, станут благодарить его, что он их вовремя остановил.

Ничего не помогало.

Государство строило заводы и фабрики, нужны были позарез все новые и новые средства, и каждый год объявлялся государственный заем, и рабочие должны были отдавать просто так, за здорово живешь, свою месячную зарплату. Рабочие, естественно, не хотели. И мой дядя, чтобы показать пример, подписывался сам на три месячные заработные платы.

Его семья голодала. Тетя Сарра уже потеряла всякую надежду. Кругом — худо-бедно — люди жили. Она же не знала ни одного светлого дня. Дети выросли, и прокормить их и одеть не было никакой возможности. Сам Симха донашивал свое фландрское обмундирование из английского сукна. Тетя Сарра, как виртуоз, накладывала новую штюпку на старую, и только поэтому костюм еще дышал и не превратился в лохмотья.

Но мой дядя и в ус не дул.

Он приходил вечером с работы, садился в тесной комнатухе к окну и раскрывал газеты, пока жена, стоя к нему спиной, ворча, подогрела на плите ужин.

Когда он читал газеты, его сухое измученное лицо разглаживалось и светлело. Газеты писали о новых трудовых победах и расцвете страны. И тогда ему казалось, что все идет прекрасно и есть лишь отдельные трудности, да и то только в городе, где он живет.

— Сарра, — с неожиданной лаской обращался он к своей жене, — ты слышишь, Сарра?

— Что? — обращала она к нему угрюмое лицо и встречала его взгляд, восторженный и сияющий.

У жены начинало сжиматься сердце от предчувствия», в которое она боялась поверить. Что с ним? Может быть, дали денежную премию и он ее принес полностью домой?

— Ну, что? — уже теплее спрашивала она.

— Сарра, — торжественно говорил дядя, бережно складывая газету, — на Урале задута новая домна! Страна получит еще миллион тонн чугуна!

Моей тете Сарре, женщине очень крепкого телосложения и крутого нрава, порой, очевидно, хотелось задушить его. Но она, прожив столько лет с этим человеком, понимала лучше других, что он такой и другим быть не может. Хоть ты его убей. А за что было его убивать?

Он не хотел видеть реальности. Реальность искажала его представление о жизни, путалась в ногах, становилась на его пути к коммунизму. И он ее не замечал. Сознательно. Как досадную помеху.

Я не знаю, что думал Симха Кавалерчик, когда Сталин расстреливал тысячи коммунистов, объявлял их врагами народа, тех самых людей, которые установили

советскую власть и его, Сталина, поставили во главе ее? Надо полагать, он верил всему, что писалось в газетах, и тоже считал тех людей врагами народа. Потому что если бы он не поверил, то сказал бы это вслух, ведь он никогда не приспособлялся и не дрожал за свою шкуру. И тогда бы, конечно, разделил с ними их судьбу.

Он продолжал верить. Невзирая ни на что. Вопреки всему, что творилось вокруг. А вокруг творилось совсем уж неладное, и оно подбиралось к нему самому.

Начались гонения на евреев. Казалось бы, тут он уж должен очнуться. Его собственная дочь Жанна, названная так в честь революции, кончила школу и захотела поступить в институт. Ее не приняли. Хоть она сдала все экзамены. И не постеснялись объяснить ей причину — еврейка.

Дома стоял стон и плач. Тетя Сарра умоляла его:

— Пойди ты. Поговори с ними. Ведь ты старый коммунист. У тебя столько заслуг. Неужели ты не заработал своей дочери право получить образование?

Симха слушал все это с каменным лицом.

Нет! — стукнул он по столу своим сухоньким кулачком. — Это все неправда. Значит, она оказалась слабее других. Моей дочери не должно быть никаких поблажек. Только — наравне со всеми.

Деньги в стране, как говорится, решали все. За большие деньги можно было откупиться даже от антисемитизма.

На следующий год Жанну приняли в педагогический институт. Родственники покряхтели, поднатужились и собрали тете Сарре большую сумму денег, и она их сунула кому следует.

Когда Жанна вернулась домой после экзаменов с воплем, что ее приняли, мой дядя первым и от всей души поздравил ее.

— Вот видишь, Сарра, — радостно сказал он. — Что я говорил? Правда всегда торжествует.

Семья от него отвернулась. Он стал одиноким и чужим в этом мире, который жил совсем иной жизнью, а он ее, эту жизнь, замечать не хотел. И главное, он не чувствовал своего одиночества. У него впереди была заветная цель — коммунизм, и он, не сворачивая, шел к ней, полагая, что ведет за собой остальных. Но шел он один, в блаженном неведении о своем одиночестве.

И лег на этом пути его собственный сын Марлен, названный так в честь вождей пролетариата Маркса и Ленина. И мой дядя остановился с разбегу и рухнул.

Марлен пошел в свою маму и вымахал здоровым и крепким, как дуб, парнем. Гонял в футбол, носился с клюшкой по хоккейному льду, и у противника трескали кости, как орехи, при столкновении с ним. Парня надо было определять на работу, и тетя Сарра попросила мужа устроить его на мясокомбинат.

— Хорошо, — согласился мой дядя. — Но никаких поблажек ему не будет. Наравне со всеми. Пойдет простым рабочим, получит рабочую закалку и будет человеком.

Вскоре Симха заметил, как день ото дня становится обильней обеденный стол в его доме. Он ел вкусные куски мяса, нарезал ломтиками аппетитные кружочки сухой

колбасы. И разглагольствовал за столом.

— Вот видишь, Сарра. Жизнь с каждым днем становится лучше и веселей. Ведь эту самую колбасу, — он высоко поднимал на вилке кружок колбасы и смотрел на него влюбленными глазами, — мы производим на экспорт, а сейчас она

— на моем столе. Значит, ее пустили в широкую продажу. И скоро у нас в стране всего будет вдоволь.

Жена, сын и дочь смотрели в свои тарелки и не поднимали глаз.

Его сына Марлена, из уважения к отцу, охрана в проходной не обыскивала. Как можно? Но поступил на работу новый охранник, вместо другого, отданного под суд за воровство, и этот охранник, не разобравшись что к чему, обыскал вместе с остальными и Марлена. Вы, надеюсь, догадались, что, как говорится, предстало его изумленному взору. Из штанов Марле-на, названного так в честь вождей мирового пролетариата Маркса и Ленина, охранник вытряс полпуда сухой экспортной колбасы. Вот ее-то, миленькую, не чуя подвоха, и ел за обедом мой дядя Симха Кавалерчик, стопроцентный правоверный большевик, и видел в этом факте, как все ближе становятся сияющие вершины коммунизма. Как тот раввин, уплетающий за обе щеки свиное сало, в неведении предполагая, что это кошерная курица.

Когда мой дядя узнал об этом, он ничего не сказал. Просто взял и умер. Тут же на месте. Без лишних слов.

Марлена, только из почтения к заслугам отца, не отдали под суд, а просто выгнали с работы.

Симху Кавалерчика хоронили торжественно, с большой помпой. В день похорон многие люди впервые увидели, сколько орденов и медалей он заработал за свою жизнь, служа делу революции. Их несли на алых подушечках, каждый в отдельности, и процессия носильщиков дядиных наград вытянулась на полквартила впереди гроба.

И это было все, что он заработал. Его даже не в чем было хоронить. Ведь не оденешь покойника в старые штопаные-перештопаные лохмотья, что он донашивал с войны. Ничего другого в доме не было.

И Симху впервые за всю его жизнь, вернее, когда он уже этого не мог увидеть, обрядили в новый и модный костюм. За казенный счет. Мясокомбинат не поскупился, и на средства профсоюзного фонда были куплены черные пиджак и брюки. И белая рубашка. И даже галстук.

Он лежал в красном гробу, утонув в этом костюме. Потому что и при жизни мой дядя был маленьким, а смерть делает человека еще меньше. Костюм же купили, не скупясь, большого размера, и дядя в нем был как сумасшедший в смирительной рубашке. Концы рукавов на лишнем полметра свисали с пальцев скрещенных на груди рук и трепетали, как черные крылья, когда гроб повезли.

Играл духовой оркестр. Играл дореволюционный марш. Толпы людей, шли за гробом. И в первых рядах — комбинатские мясники с красными от избыточной крови затылками. Те самые, которых всю жизнь Симха, не щадя себя, обращал в свою веру. Умолял не воровать, а, подтянув ремни, ждать светлого будущего. Они же хотели жить сейчас и, хоть уважали за честность моего дядю, ничего с собой поделать не могли. И воровали. Каждый день.

Теперь по их толстым румяным щекам катились слезы.

Оркестр надрывно ревел революционные марши.

Что еще остается сказать?

Лучше ничего не говорить.

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Ностальгия у эмигрантов проявляется по-разному.

Встретил я в Берлине одного бывшего москвича. Фотожурналиста. Тоже бывшего. Тут его квалификация советского фоторепортера никого не интересовала, и пришлось бедному малому переквалифицироваться, пойти на шестом десятке в ученики к скорняку на меховую фабрику. Скорняк тоже был из евреев.. Из польских. И пожалел москвича, которого по возрасту никуда на работу не брали. С польским евреем москвич хоть находил общий язык. С грехом пополам объяснялись на смеси русского с польским.

Москвич никаких языков, кроме русского, не знал и отличался удивительной невосприимчивостью ко всем остальным. Прожив два года в Берлине, он с трудом отличал по-немецки, какое слово означает «здравствуйте», а какое «до свидания». Что касается других слов, то он и не отваживался произнести их.

Так и жил. Дома с женой и детьми по-русски, на работе — на чудовищном польско-русском коктейле. А с работы и на работу проскакивал на метро, ни с кем не общаясь и стараясь вообще не раскрывать рта.

В Москве же, если верить его словам, и я не склонен думать, что он слишком много привирал, у этого человека была не жизнь, а малина. Он был отчаянным сладострастником, женолюбом. И его профессия фоторепортера прокладывала ему кратчайший путь к женским сердцам. С японскими фотокамерами на шее, в собственном автомобиле и с красным удостоверением известного журнала, да еще с хорошо подвешенным языком, сыпавшим, как горохом, именами знаменитостей, с коими он на короткой ноге, он становился неотразим, и самые неприступные красавицы поддавались его дурманящему обаянию и склоняли свои прелестные головки перед ним.

У него было столько любовниц кратковременных и долгосрочных, что он постоянно сбивался со счета, вспоминая их, а в именах путался похлестче, чем в дебрях немецкого языка. С женой, постаревшей от безрадостной жизни с ним, он перестал спать задолго до эмиграции и поддерживал брак из-за детей, да еще из страха полного одиночества в надвигающейся старости. Он спал с молоденькими девчонками, годившимися ему в дочери, с известными актрисами, с фабричными работницами, простоватыми, но крепкими и свежими, которых он фотографировал для журнала, с кряжистыми, белозубыми, с румянцем во всю щеку и пахнувшими молоком крестьянками, чьи смущенно улыбающиеся портреты потом украшали журнальные страницы.

Теперь же наступил полный крах. Японской фотокамерой и собственным автомобилем берлинскую даму не удивишь. Таким путем он лишился основного

притягательного элемента. Положением ученика скорняка тоже пыль в глаза не пустишь. Это — не красная книжка журналиста. И последнего оружия он был лишен начисто. Языка. Которым он ловко умел кружить головы, вселять несбыточные надежды, сулить золотые горы. В Берлине он был абсолютно нем. И даже с самой захудалой проституткой, с которой всего-то разговору два-три слова, он заговорить не решался.

В этом для него была главная трагедия эмиграции. Потеря ампулы ловеласа. Одиночество старого полувыдохшегося козла.

Иногда он заходил в наш ресторан, охотно посещаемый эмигрантами, подсаживался к кому-нибудь из них и начинал бесконечную повесть о своих былых победах. Одни от него отмахивались. А другие слушали. Потому что как-никак, а человек говорит о прошлой жизни, и рассказы о русских женщинах, таких любвеобильных и доступных, вызывали у них свои воспоминания.

В перерывах, когда оркестр отдыхал, я тоже подходил к его столику. И тоже слушал.

Однажды он потряс мое воображение.

— Знаешь, какой сон я сегодня видел? — сказал он мне, и его глазки в обрамлении морщин засверкали. — Будто проснулся я не в Берлине, а в Ялте. В гостинице «Ореанда». Выхожу на набережную в заграничных трусиках и кедах, на шее — японская камера «Никон», склонился через парапет и обозреваю пляж. А пляж густо, как тюлень лежбище, усеян юными женскими телами. И все, подчеркиваю, все до одной разговаривают по-русски. Я даже зарыдал во сне и проснулся мокрый от слез.

Вот она какой бывает, ностальгия!

Себя сердцеедом я назвать никак не могу. Не вышел рожей. Да и характером тоже. Сведи меня судьба не с моей экс-женой, а с какой-нибудь другой женщиной, и подобрей и помягче, и я, уверен, никогда бы ей не изменял.

В Берлине я живу один. Таких, как я, одиноких эмигрантов здесь немало. Одни оставили своих нееврейских жен там, в России, от других жены, те, что посмазливей, бежали уже здесь, соблазнившись богатой квартирой или жирным счетом в банке у какого-нибудь вдовца-аборигена. Чаще всего польского еврея. Потерявшего первую жену и детей еще в Освенциме, а вторую благополучно похоронившего на еврейском кладбище в Берлине.

По части женских услад нам тут приходится туго. Свободных, не закрепленных за кем-нибудь эмигранток почти не осталось. А то, что еще не расхватали, особого энтузиазма не вызывает. Или уже бабушка со стажем, или если помоложе, то сексуальных вожделений не вызовет даже и тогда, когда призовешь на помощь самую необузданную фантазию.

Остаются немки. Ими Берлин кишит. Красивыми, спортивными, белокурыми. Но это не для нашего брата. У них свои мужчины. Немцы. С которыми их, кроме всего прочего, объединяет язык и общность культуры. Даже с немецкими паспортами в кармане мы для них бездомные иностранцы, да еще с Востока, и они не делают различия между нами и турками, которых сюда пускают временно, гастарбайтерами, для выполнения самых грязных работ, за какие немец побрезгует взяться.

Немки постарше и не из самых привлекательных, те, от кого отводят глаза немцы-мужчины, тоже не весьма охотно вступают в связь с нашим братом. Полагаю, что не последнюю роль при этом играют наши неарийские, семитские черты и печальный еврейский взгляд, который не проясняется даже и тогда, когда мы смеемся.

Я переспал с двумя-тремя немками. Официантка в ресторане. Одна работала почтальоном. Не красавицы. Публика невзыскательная и большим спросом у мужчин не пользующаяся. И вот все они, будто сговорившись, приходили ко мне украдкой, тайком, словно боялись, что встречные немцы их осудят за непристойную связь, без особой радости принимали мои приглашения сходить посидеть в кафе, а предпочитали жаться ко мне и сопеть в ухо в темноте зрительного зала кинотеатра.

Остаются проститутки, для которых все клиенты равны, если способны уплатить. Но это удовольствие довольно дорогое. За деньги, что отдашь ей, можно купить вполне приличный костюм. А кроме того, я — брезглив.

Ни в чем так остро не ощущаем мы, эмигранты, ностальгии, как в сексуальной жизни, и сон бывшего московского фоторепортера лишь подтверждает это.

Обычно в конце недели, в субботу и воскресенье, в погожие, не дождливые дни, мы сидим на Кудаме (так берлинцы сокращенно называют свою главную улицу-Курфюрстендамм). Нас собирается пять-шесть одиноких мужчин-эмигрантов. Облюбовали мы одну пивную со столиками, вынесенными на тротуар. Кто приходит первым, занимает такой столик, положив на свободные стулья как знак того, что они заняты, зонтик, сумку, шляпу. Потом подходят понемногу остальные, добравшись до центра на метро из разных концов Берлина. Заказываем по большому бокалу пива и сосисок с горчицей и сидим-сидим, пока не отсидим себе ягодицы. Толкуем по-русски, вызывая удивленные, а порой и настороженные взгляды за соседними столиками.

А на каком еще языке нам разговаривать? На чужом языке душу не отведешь, удовольствия от разговора никакого не получишь, а только устанешь, как после тяжелой напряженной работы. Даже если ты и освоишь новый язык и в уме не приходится переводить слова, а шпаришь гладко, без запинки, то все равно язык остается мертвым, без запаха и цвета, и какой бы разговор ни завел с немцем, даже самый интимный, получается лишь обмен информацией. И только. Как поцелуй, не согретый чувством, есть обмен слюнями.

Поэтому мы чешем всласть по-русски. Сначала вполголоса, косясь на соседей, а потом, увлекшись, во всю глотку, не считаясь с окружением. Оно, окружение, галдит по-немецки. Нам это нисколько не мешает. Почему же нам стыдиться своего языка?

Своего ли? Русский мы считаем своим. Среди нас нет ни одного русского. Все — евреи. Я из Литвы, другой — из Кишинева, бессарабский еврей. Москвич. Тот, что был фоторепортером, а сейчас учится кроить шкурки на меховой фабрике. Ну, я еще знаю литовский. Кишиневец, полагаю, болтает по-молдавски. А вот своего языка у нас нет. Идиш с грехом пополам знают далеко не все из нашей компании. Остается русский язык. Общий для всех. Богатый и сочный язык. На котором можно выразить все, что угодно. А особенно

— ругнуться трехэтажным матом, когда станет совсем невмоготу. Ни на каком языке так не облегчишь душу, как смачно ругнувшись по-русски. Потому и родной он нам.

Мы сидим на Кудаме, лениво потягиваем пиво из литровых кружек толстого стекла, и, когда устаем разговаривать, просто пьем на прохожих, и, выбрав глазами какую-нибудь смазливую бабенку в белых брюках, плотно облегающих спортивный зад, дружно поворачиваем шеи ей вслед, и обмениваемся взглядами, которые красноречивее слов.

Мы сидим — немолодые, с лысынами, с набрякшими мешками под глазами, с апоплексическими красными шеями и упирающимися в край стола животами. Мужчины далеко не первого сорта. Но еще с претензией на роль ловеласов. И шалим глазами. Раздевая в уме проходящих красоток, нашептывая в уме в их немецкие розовые ушки ласковые русские слова и бесстыдно и алчно хватая руками их упругие и, конечно, покорно-податливые тела. Тоже в уме.

Мы одеты в приличные заграничные одежды, но рожи наши все равно выглядят чужими в этой толпе, и вокруг нас словно мертвая зона. Мы — сами по себе, а немцы — сами по себе. Как и сам Западный Берлин, окруженный со всех сторон чужими войсками и, чтобы никаких сомнений, не оставалось, еще огороженный бетонной стеной. Мы — в не очень дружелюбном кольце немцев, немцы — в еще более враждебном кольце советских ракет.

О чем толкуем мы? Конечно о женщинах. О тех, с кем судьба свела когда-то в России. И из этих сладких воспоминаний выростали русские девичьи лица, одно прелестнее другого, на все лады расхваливались их качества: страстность, влюбчивость, самоотверженность в любви. И уж никакого сомнения не было в том, что лучше русской женщины нет в мире. Потому что это были женщины, которых мы действительно знали, и еще потому, что знали их, когда сами были намного моложе.

И вот в один из таких дней за столиком в пивной на Кудаме я узнал, что не все еще потеряно и есть реальная возможность окунуться в прежнюю жизнь. Сон бывшего фоторепортера превращался в явь. Было на земле такое место, где мы, изгнанники из России, могли выйти на пляж, густо усеянный женскими телами, и уж если не все, то, по крайней мере, большинство женщин на этом тюленьем лежбище разговаривало на чистейшем русском языке.

Этим волшебным местом были Золотые Пески, болгарский курорт на Черном море. И туда нашего брата эмигранта пускали запросто, даже не интересуясь, какое место рождения указано в немецком паспорте.

Надо только зайти в любой универсальный магазин, скажем, в Кауфхоф или в Херти, и за очень умеренную плату получить и место в гостинице у пляжа, и билеты на самолет болгарской авиакомпании «Балкан» в оба конца. Дешевле грибов.

Я, не долго размышляя, отправился в Кауфхоф. Меня не так влекли русские женщины, как сама поездка к Черному морю, куда ездил отдыхать не единожды, когда был гражданином СССР. Это море осталось для меня родным. И возможность потолкаться среди русских туристов и даже, если повезет, встретить кого-нибудь из старых знакомых. Чем черт не шутит.

Я полетел в Болгарию. Туда, за железный занавес, за который, оказывается, все же можно проникнуть, если уплатить сколько положено. Я лечу в болгарском самолете советской конструкции — Туполев. Сколько я летал на таких самолетах в прежней жизни! И снова вижу надписи по-русски: «Не курить!», «Застегнуть ремни!». Сажусь в

знакомое кресло. Откидываю со спинки переднего кресла столик и обнаруживаю, что не могу его опустить. Мешает живот. И сразу понимаю, что прошли годы, и я постарел и обрюзг.

Золотые Пески — это бесконечный пляж, покрытый воистину золотым песком. Мягким и сыпучим. Теплое и чистое море лениво лижет пляж. А за пляжем поднимаются зеленые лесистые холмы, и из них, как сахарные кристаллы, устремились в голубое, без единого облачка, небо многоэтажные отели.

Здесь действительно хорошо отдыхать. Красиво и дешево. И поэтому к Золотым Пескам Болгарии летят за тридевять земель туристы из Западной Германии, Англии, Скандинавии и даже Франции, у которой пляжей своих — хоть отбавляй.

Но главный контингент на Золотых Песках — советские туристы. Они преобладают на пляже, выделяясь безвкусными купальниками и мясистыми бесформенными фигурами.

Советские туристы приезжают группами по 30-40 человек, и в каждой группе почему-то почти одни женщины. Из-за них пляж стал в самом деле похож на тюленья лежбище. Однотонным тусклым цветом купальников и массивными неуклюжими телами их обладательниц. А если эти женщины не лежат, а стоят, глядя на море, они напоминают пингвинов. Женщины с Запада, даже некрасивые, выглядят на их фоне изящными существами с совершенно другой планеты.

Мое чувство ностальгии дало трещину. Обычно при виде того, как они, мои бывшие соотечественники, ходят чуть ли не по-солдатски, кучей, избегая соприкоснуться с остальными, словно то ли они, то ли остальные больны заразной болезнью.

Я жил в отеле, один в номере, хотя там были две кровати, но вторая пустовала. На пляже я тоже лежал один.

И именно тут, на золотом песке болгарского пляжа, среди разноязычного говора и тысяч человеческих тел, я почувствовал звериное, волчье одиночество. Я был один во всем мире. Не было ни одной группы, ни одной общности людей, к которой я принадлежал бы по праву и которая проявила бы ко мне хоть какой-то интерес. Туристы играли на песке в карты, просто трепались, сбившись в тесные группки, в море уплывали по двое, по трое, перекрикиваясь и улюлюкая друг другу от восторга и блаженства. Я и плавал один, и загорал в одиночестве, и даже когда обедал в ресторане, контакт с моими соседями за столом ограничивался лишь двумя-тремя ни к чему не обязывающими фразами.

Еще в самолете, по пути в Болгарию, когда высоко над облаками мы пересекали невидимую Восточную Европу, у меня была надежда, что я буду не один. Волею билетного жребия со мной рядом села вполне привлекательная немка. Средних лет. Со светлыми, почти серебряными волосами, которые маскировали возрастную седину. Я помог ей уложить сумку в багажную сетку, был предупредителен, как мог. И она отвечала взаимностью. Рассказала, что живет в Берлине, в том же Кройцберге, что и я, и мы вообще соседи, в трех кварталах друг от друга. Оба понимающе повздохали по поводу засилья турок в нашем районе, отчего бедный Кройцберг скоро будет больше похож на Истамбул, чем на Берлин. Особенно своими острыми чесночными запахами и некрасивыми женщинами, до бровей закрытыми тусклыми платками.

Нас, меня и Регину (так ее звали), сближало общее беспокойство за судьбу своего города, потому что мы оба были гражданами Германии, а восточные рабочие — лишь с трудом, по необходимости терпимыми гостями, засидевшимися в гостях дольше допустимого приличиями срока.

Я оживился, обнаружив, что и у меня есть общие с кем-то заботы и опасения. Почувствовал себя нормальным человеком.

Потом Регина сообщила, что уже три года в разводе с мужем. Показала фотографию сына, уже женатого и живущего не в Берлине, а в Гамбурге. Я тоже показал фотографию своей Руты. Не ту, где она в израильской военной форме, с маленьким автоматом «узи» через плечо. А еще доэмиграционную, каунасскую фотографию, на которой Рута выглядит куда менее привлекательной, чем на более поздней, иерусалимской. Но почему-то не хотелось сразу огорошивать мою новую знакомую своим происхождением, Израилем и всеми теми подробностями из эмигрантского житья, которые отпугивают собеседника и лишь в лучшем случае вызывают вежливое любопытство. Ну какой интерес даже самому доброму и чуткому человеку слушать про чужие беды, когда он в отпуске и едет отдыхать, чтобы забыть хоть на время свои собственные заботы и неприятности?

Регина нашла мою дочь даже на той старой фотографии очень хорошенькой и высказала предположение, что моя бывшая жена (я уже успел сказать ей, что я тоже в разводе) была, вероятно, весьма привлекательной особой.

Вот так мы болтали всю дорогу, и я уж строил радужные планы, как мы, хоть и живем в разных отелях, будем каждый день встречаться на пляже, вместе обедать и ужинать в ресторанах, и я в уме даже прикидывал, хватит ли у меня средств на такие загулы, и утешал себя, что должно хватить, если не особенно швыряться деньгами. Когда мы с Региной сблизимся покороче, смогу ей объяснить мое финансовое положение, и она, как женщина разумная, с жизненным опытом, все поймет.

Такие примерно планы рисовал я по пути в болгарский город Варну. В аэропорту Регина села в другой автобус и лишь помахала мне из окна. Один день я выжидал для приличия и лишь тогда направился ее проведать. Разыскал отель, поторчал в холле, надеясь перехватить ее по пути на пляж. Не перехватил. Тогда пошел на пляж. Снял рубашку и оставшись в брюках и туфлях, брел, утопая в песке, заглядывая под зонты, заходил с разных сторон, увидев светлые с серебристым отливом волосы. Наконец увидел Регину. Она сидела на мохнатой простыне. Уже тронутые первым загаром плечи лоснились от наложенного на них слоя масла. С Региной были еще две женщины. Немки. Средних лет. В ярких купальниках. С бронзовым загаром, уже двухнедельным.

Регина, увидев меня, не проявила никакой радости. Улыбнулась, помахала рукой. Но не пригласила подсесть.

Я все же не ушел. Подсел к ним, поздоровался. Женщины переглядывались, одна даже подмигнула Регине. Разговор не клеился. Я что-то лепетал о погоде, о том, что надо загорать понемногу, иначе можно обжечь кожу и потом маяться несколько дней. Женщины уныло соглашались. Потом обе встали и пошли к воде, уже издали позвав и Регину. Регина извинилась и с нескрываемым облегчением побежала их догонять. Я остался возле их полотенец и сумок. Как сторож. Мне стало жарко. Но снять штаны не мог — не захватил с собой плавок. Женщины все не возвращались. И я понял, что они

будут сидеть в воде до той поры, пока я не проявлю догадливость и уйду. Я проявил эту догадливость.

Больше я Регину не встречал. Если не считать одного раза, когда мы столкнулись у входа в ресторан. Я шел туда, а она выходила в компании уже поужинавших немцев. Мы почти столкнулись лицом к лицу. Но она меня не узнала. Или, вернее, сделала вид, что не узнала, и прошла мимо, чуть не коснувшись меня плечом, как проходят, не замечая, мимо телеграфного столба или урны для окурков. Замечают лишь по-столько, поскольку требуется, чтобы не стукнуться и обойти.

С мужчинами контакт тоже не получался. Я был этим немцам чужим во всем. И моя еврейская внешность, и примитивный, из нескольких сот слов, с жутким акцентом, немецкий язык, и абсолютная разность интересов не располагали к сближению. Со мной были вежливы, выслушивали меня с формальными, ни к чему не обязывающими улыбками, отвечали на мои вопросы и спешили избавиться от меня.

Однажды в холле нашей гостиницы компания немцев собралась сыграть в карты, и им не хватало четвертого партнера. Я сидел неподалеку в кресле перед телевизором, с тусклого экрана которого что-то лопотали по-болгарски мужчина и женщина в старомодных, начала века, костюмах, и, уловив краем уха, что для игры в карты ищут четвертого, не замедлил предложить свои услуги.

Немцы обрадовались, я подтащил свое кресло. Играли долго, за полночь. Попивая пиво из банок, которое можно было купить тут же в холле, но лишь за доллары или немецкие марки. Я дважды заказывал пиво для всех, и немцы охотно принимали мою щедрость. Они тоже заказывали и угощали меня. Мы болтали, играя, как это водится при картах, обменивались короткими репликами и восклицаниями. И когда я отпустил однажды шутку, предварительно сложив всю фразу в уме, немцы дружно захохотали.

Все выглядело нормально. Я был принят в их круг на равных. И мы расстались у лифта приятелями, долго тискали руки, хлопали друг друга по плечам.

Назавтра вечером я застал их в холле снова. Они уже играли в карты. И четвертый партнер им не был нужен. За столом они сидели вчетвером. Четыре немца. И когда я подошел почти вплотную, заглядывая в карты через их плечи, они долго меня не замечали, и когда дольше не замечать уже стало неприличным, дружно, как по команде, кивнули мне головами и чрезмерно сосредоточенно углубились в карты. Я отошел от них, не попрощавшись, и, клянусь честью, мне это не показалось, все четверо облегченно вздохнули и свободно откинулись на спинки кресел.

Для немцев я был чужим. Это не вызывало сомнений. И особенно-то не беспокоило, я привык к этому за время жизни в Берлине. Они — сами по себе, я — сам по себе. Равнодушный нейтралитет. И то-слава Богу!

Но ведь пляжи были густо усеяны русскими телами, русская речь, такая приятная и родная после немецкой, сухой и отрывистой, как военные команды, витали над Золотыми Песками, над теплым морем, и душа моя трепетала при сладких звуках этой музыкальной, певучей речи. Я бродил среди распростертых на горячем песке тел и по цвету и фасону купальников угадывал русских даже тогда, когда они молчали, зажмурив глаза от ярких солнечных лучей.

У женщин почти поголовно были волосы одинакового медного цвета — единственным доступным им красителем была хна. Во ртах, когда они размыкали

губы, поблескивало золото вставных зубов.

Русские лежали группами, небольшими стайками, объединенные городом или областью, откуда приехали, и чужому затесаться к ним не представлялось возможности. Они настораживались и замыкались при виде незнакомого человека, подозревая в нем провокатора или шпиона согласно инструктажу, который получили дома перед отъездом за границу.

Я, как гиена возле мирно пасущихся антилоп, бродил, облизываясь, вокруг этих стаек, сердце мое замирало от звуков русской речи, и, как подобает гиене, выискивал антилопу-одиночку, отбившуюся от стада и не защищенную круговой поручкой.

Мне удалось подстеречь такую. Другие русские ушли, а она осталась лежать на пляже на разостланном полотенце, прикрыв рукой глаза от солнца. Я воспользовался тем, что она не видит, и тихо подсел рядом, достал из сумки тюбик с маслом, выдавил оттуда на ладонь и стал смазывать плечи, кося глазом на нее.

Она отвела ладонь от глаз, увидела меня, и в ее глазах я прочел испуг и недоумение. Я тут же поспешил успокоить ее, заговорив по-русски и предложив ей масло от загара. Это немного успокоило ее, она поняла, что я не чужой, а свой, и даже взяла мой тюбик с маслом.

— Здесь купили? — спросила она, разглядывая немецкие надписи на тюбике.

Я кивнул. Стану я ей объяснять, что это куплено в Берлине.

Она попробовала масло пальцем, провела им по своему розовому от загара короткому носу и удовлетворенно улыбнулась, обнажив два или три золотых зуба среди белых прекрасных остальных зубов. Золотыми, очевидно, были коронки, одетые на зубы для красоты.

Мы стали болтать. Она назвала себя, сказала, что живет на Урале, работает на металлургическом заводе. Была замужем. Остались дочь и сын. Сама вытягивает их. Зарабатывает неплохо. Хватает. Огород свой. Овощи, картошку покупать не приходится.

У нее была довольно большая грудь, стянутая черным бюстгалтером, широкие мягкие бедра и выступающие синими гроздьями вены на икрах. Была она курноса и чуть узкоглаза и скуласта, что свидетельствовало об известной доле татарских кровей.

Такие женщины мне нравятся. Да и она, видать, соскучилась по мужскому вниманию и не спешила уходить и улыбалась мне обнадеживающе и по-свойски.

Я тихо ликовал, предвкушая конец своего одиночества и робко рисуя в уме радужные картины назревающего курортного романа с русской, вкусной, аппетитной бабенкой, такой родной и близкой, словно я знал ее давным-давно и все не мог насытиться ее пьянящей близостью.

Оказалось, что и живем мы в соседних отелях, и уже сговаривались о встрече вечером после коллективного ужина в русской группе, когда она постарается улизнуть от своих и прийти ко мне на свидание. Я предполагал пригласить ее в бар и там накачать болгарским коньяком «Плиска», что заметно ускорило бы наше сближение.

На радостях я расщедрился и предложил немецкий тюбик с маслом для загара. И немецкую зажигалку. Она повертела в пальцах красную, копеечную зажигалку с рекламой американских сигарет «Кэмэл» и спросила удивленно, почему это у меня все

вещи заграничные. И сумка с надписью «Адидас», и солнечные очки, и плавки, и даже зажигалка.

Я, идиот, глупо хихикнув, чистосердечно сказал, что вещи у меня заграничные потому, что я живу в Берлине. В Западном. И паспорт у меня тоже не советский, а германский.

На этом наше знакомство оборвалось. Она швырнула мне зажигалку и тюбик с маслом, вскочила на ноги и, подхватив с песка полотенце, побежала с пляжа. Не попрощавшись и не оглянувшись.

В другой раз я затесался к русским, играющим в глубине пляжа в волейбол. Я когда-то неплохо бил по мячу и включился в игру, не спросив разрешения, ибо этого и не требуется. Мои точные пасы и удары по мячу обратили на себя внимание. Игроки похвалили меня, перекидываясь словами, как со своим, и я почувствовал, что принят в их круг.

Устав от игры, уселись на песке. Кто-то достал из сумки бутылку водки, откупорил, и все стали пить, отхлебывая из горлышка и передавая бутылку по кругу. Я тоже хлебнул, обжег гортань и закашлялся. Все рассмеялись, а один сказал:

— Не по-русски пьешь. Ты откуда сам?

Мне бы, дураку, сказать, что я из Литвы, и, возможно, все бы обошлось, а я, глупо ухмыляясь, объяснил им, что я уже несколько лет как уехал из России и поэтому, должно быть, отвык пить по-русски.

— А где живешь теперь? — насторожилась вся компания.

— В Германии. Эмигрант, что ли?

Я кивнул.

Есть такое выражение: их как ветром сдуло. Вот именно так исчезли они, покинув меня. И недопитую бутылку русской водки в песке.

Русские от меня шарахались. Даже когда я ничего не говорил, ко мне поворачивались спинами. Должно быть, слух о том, что я эмигрант, прошел по русским группам. На меня лишь издали поглядывали с любопытством и даже показывали пальцами в мою сторону, но стоило мне приблизиться, становились отчужденными и даже враждебными.

Никто меня не признавал своим. Для всех этих тысяч тел тюленьего лежбища я был инородным телом.

Меня охватила жуткая тоска. Я лежал на песке один, и ласковое черноморское солнце казалось мне тоже недружелюбным, готовым сжечь, испепелить меня. Устав лежать, я бродил по колону в воде вдоль берега и безнадежно шарил глазами по телам, распростертым на горячем золотом песке, уже не надеясь встретить хоть один дружелюбный взгляд.

И вдруг лицо мое прояснилось. Я увидел на песке евреев. Женщину, мужчину и ребенка. О том, что они евреи, я догадался не по смуглости их кожи и не по карим глазам. У болгар, которых много на пляже, такие же лица. У этих на шеях висели на тоненьких цепочках шестиконечные звезды Давида. Никто, кроме еврея, это не наденет. У женщины звезда была золотая, у мужчины — серебряная. Даже у

трехлетнего мальчугана болталась на груди серебряная шестиконечная звездочка. Они сидели на большой белой простыне и, как и подобает евреям, кормили ребенка. Евреи всегда кормят детей. Даже на пляже. И при этом покрикивают на них и почти насильно заталкивают ложку в перемазанный рот.

У меня защипало в глазах. Сердце учащенно забилось. Эти трое были единственными, для кого я не чужой. Это был мой народ. Мои соплеменники. Больше я уже не был один.

Я выскочил на берег и быстрыми шагами направился к ним, с каким-то вдруг проснувшимся во мне высокомерием обходя тела — немецкие, русские и еще черт знает какие чужие тела. Мне было на них теперь наплевать! Я встретил своих!

Шагах в десяти от еврейской семейки я остановился. Я различил язык, на котором они говорили. Это был иврит. Древнееврейский язык, на котором разговаривают только в Израиле. За короткое время жизни в этой стране я выучил лишь с десяток слов, да и их позабыл, когда навсегда покинул Израиль.

Звуки речи этих трех израильтян были мне знакомы, но смысла слов я не понимал. Я пялился на них, бессмысленно и глупо улыбался и не подходил. У меня с ними тоже не было общего языка.

А они разговаривали на иврите громко, как у себя дома, в Израиле. Им и в голову не приходило, что кому-нибудь может не понравиться их речь. Они просто не замечали окружающих. И их гортанная, на восточный лад скороговорка на равных сливалась с гулом других языков, клубившихся над людским лежбищем.

Золотые и серебряные шестиконечные звездочки нестерпимо ярко отсвечивали, и я почувствовал, как слезы бегут по моим щекам. Слезы отчаяния и жуткого волчьего одиночества.

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

Он был честнейшим человеком. Мой сосед. Никогда не возьмет чужого. Никому не позавидует. Живет себе тихо, как мышь под полом. Никто в доме даже не знал, где он работает. И кем. Кажется, агентом по снабжению. Но агенты по снабжению обычно живут богато, не на свое жалованье. И рано или поздно попадают за тюремную решетку. С конфискацией имущества.

Он же еле-еле тянул от получки к получке. Если его бы и посадили, то не в тюрьму, а в клетку зоопарка, как последний экземпляр честного идиота в советской стране. Сам был маленького роста. И жену выбрал себе под стать. И сынишка у них рос тоже меньше своих сверстников во дворе. Хороший еврейский мальчик. Умница. Всем задает самые неожиданные вопросы и терпеливо ждет ответа, поглядывая снизу на озадаченного взрослого дядю с сочувствием и пониманием.

О таких, как мой сосед, в еврейских семьях, слава Богу, неплохо устроенных, говорили «шлимазл» и указательным пальцем крутили у виска.

Сказать, чтоб он был бездельником или лентяем, я тоже не могу. Всегда куда-то спешит, всегда глубоко озабочен, словно на его утлые плечи возложили земной шар со всеми мировыми проблемами.

Когда евреи из Москвы стали тоненькой струйкой просачиваться на историческую родину, в Израиль, мой сосед, не долго думая, заказал себе вызов от всем известной «тель-авивской тети» и получил разрешение на выезд с такой скоростью, словно советская власть страшно обрадовалась возможности избавиться от такого «шлимазла» и очень боится, что он еще раздумает.

Как известно, советская родина-мать не очень вежливо распрощалась со своими подкидышами — гражданами еврейской национальности и, кроме того, что вымотала им душу, пока отпустила из своих объятий, еще хорошенько плюнула в рожу, запретив евреям вывозить честно нажитое добро, и велела уезжать, как мать родила, обменяв лишь сто долларов на нос. А все остальное куда девать? Раздайте знакомым, оставьте родственникам.

У моего соседа родственников не было, одарить знакомых он тоже не изнемогал от желания и, потолкавшись среди уезжающих евреев, понял, что есть все же выход. Например, продать все свое имущество и на эти деньги купить у кого-нибудь один бриллиант. Маленький сверкающий камушек, который можно так запрятать, что никакая таможня не найдет.

Правда, все это надо проделать в абсолютной тайне и абсолютно тихо, потому что иначе советская власть не поленится сделать обыск, бриллиант, в который вложено все состояние, конфискует в пользу государства, а сам ты вместо Израйля, с его апельсинами и грейпфрутами, поедешь за казенный счет в совершенно обратном направлении. К белым медведям.

Последние дни до отъезда мой сосед ходил с видом террориста, замышляющего крупный акт. За версту можно было угадать по выражению его лица, что он еле-еле хранит какую-то страшную тайну. Евреи сразу догадывались, что он купил нелегальный бриллиант. И неевреи тоже.

Поэтому, когда он уже прошел таможенный досмотр в московском аэропорту и вместе с женой и сыном поднялся по трапу на австрийский самолет, вслед за ним поднялись несколько молодых людей в штатском и вежливо попросили его на несколько минут вернуться в аэропорт для выполнения каких-то мелких формальностей, а жена с сыном пусть остаются в самолете, потому что рейс задерживается.

Умный сынишка моего соседа, когда возбужденные пассажиры самолета начали строить догадки о судьбе несчастного еврея, сказал им авторитетно: — Мой папа там какает.

И он как в воду глядел.

У моего соседа, конечно, попросили бриллиант, и он, конечно, его проглотил. Тогда ему дали выпить лошадиную дозу слабительного и в присутствии таможенного чиновника усадили на ночной горшок, который там специально держали для подобных случаев. Таможенный чиновник с каменным лицом стоял над ним и терпеливо слушал непристойные звуки, которые издавал в горшок мой сосед. Чиновник попался покладистый и даже не матерился. Потому что он был женского пола и, судя по всему, хорошего воспитания.

Потом моего соседа заставили ковыряться пальцами в содержимом горшка, и он при этом напоминал золотоискателя, промывающего песок.

К удивлению таможи и к не меньшему удивлению моего соседа, ничего сверкающего в горшке не обнаружили. Его хотели повести на рентген, чтоб просветить живот, не запутался ли бриллиант в кишечнике и нашел укрытие в аппендиксе, но рентгеновский аппарат вышел из строя, как это часто бывает в стране социализма, и моего соседа отпустили с миром, так как экипаж австрийского самолета уже выразил протест в связи с задержкой.

С тех пор в Вене, в транзитном лагере Шенау и в Израиле, сначала во временной квартире в пустыне Негева, а потом в полученной после долгих хлопот постоянной квартире в Иерусалиме, мой сосед ходил по большой нужде только на горшок и каждый раз потом долго ковырялся в нем. Он даже сходил к врачу. Бриллиант исчез. Как будто испарился. Или расплавился в желудке моего незадачливого соседа. Правда, для этого надо, чтобы там была температура свыше тысячи градусов по Цельсию. Но разве охватишь разумом все загадки природы? Особенно если природа добирается до еврея и на нем отводит душу.

В Иерусалиме нас поселили в одном доме в Гиват Царфатит, и, как и в Москве, мы опять стали соседями, и я смог следить дальше за приключениями этого «шлимазла».

В бриллианте было все его состояние, а так как он его проглотил, но не смог извлечь обратно, то свою жизнь на исторической родине мой сосед был вынужден начать с нуля.

Он был неистребим и живуч, как наш многострадальный еврейский народ. Снова я видел его озабоченное лицо. Снова он куда-то спешил. Он по очереди записался во все политические партии, ходил на собрания, ни слова не понимая на иврите. Его видели в синагогах с полосатым талесом на плечах и с молитвенником в телячьем переплете вдалеке, по дальноточности, оставленной руке. Люди везде, в партиях и в синагоге, что-то получали. В кредит. И даже безвозвратно. Хоть что-то уносили в клюве, чтоб свить гнездо на новом месте.

Мой сосед во всех этих значных местах, именуемых фондами, ссудами, толкался активнее всех, но всегда чуть-чуть позже чем надо, и уходил с пустыми руками, потому что как раз перед ним деньги кончались, и ему предлагали прийти в другой раз, а когда конкретно, не говорили.

Поэтому когда он зашел ко мне с таинственным выражением на лице и зашептал мне на ухо, что имеет приглашение посетить заседание еврейской масонской ложи — «Бней Брит» и мне, как соседу, предлагает составить ему компанию, я вначале отказался. Потому что был хорошо осведомлен о его предприимчивости и знал, чем обычно это кончается. Но когда он, горячась, объяснил мне, темному человеку, что такое масоны, и какой в ложе соблюдается мистический ритуал, и как все члены называют себя каменщиками и даже надевают фартуки каменщиков и держат в руках мастерки, самые настоящие, какими бетонный раствор кладут на стены, это меня заинтриговало, и так как делать было особенно нечего и телевизионная программа на иврите, которого я не понимал, не обещала ничего интересного, я согласился, и мы поехали.

По дороге, в переполненном автобусе, который полз по крутым холмам Иерусалима, мой сосед объяснил мне:

— Мы, конечно, в СССР отрицали, мистику, и я, честно говоря, до сих пор в нее не

верю. Мне эти масоны, как говорится, до лампочки. Но говорят, — тут он переходит на свистящий шепот, — они, эти масоны, страшно богатая организация. Среди этих «каменщиков» много миллионеров. И своему брату масону всегда готовы прийти на помощь. И наличными и протекцией.

Я на это ответил, что не рассчитываю что-нибудь урвать у масонов, я не наивный ребенок, но мне интересно посмотреть на еврейских каменщиков. До сих пор во всем Иерусалиме, где на каждом шагу строят новые дома, я почему-то видел на лесах в этой роли исключительно арабов.

Мы добрались немного с опозданием и тихо подсели сзади на свободные стулья. Здесь собралась русская секция масонской ложи, то есть эмигранты из России, прошедшие или желающие пройти обряд посвящения в таинственный орден «каменщиков». Поэтому говорили по-русски. Сверху доносились обрывки английской и французской речи, и я догадался, что там заседают секции масонов — выходцев из Америки и Франции.

Собственно говоря, там, наверху, и были главные помещения ложи, а нам, русским евреям, алкающим приобщения к таинствам ложи, выделили в вестибюле закуток под лестницей, ведущей наверх.

Дом этот был очень старый, и деревянная лестница на двадцать ступеней, косо провисшая над нашими головами, на мой взгляд, уцелела в Иерусалиме со времен разрушения Второго храма. Она визгливо скрипела и почти человеческим голосом стонала, когда кто-нибудь ставил ногу на ее ступени. Заседание русской секции шло под этот аккомпанемент.

Какой-то малый, отрекомендовавшийся братом Шапиро, обратился к нам с приветственным словом, выразив радость по поводу нашей активности, о чем свидетельствует отсутствие незанятых стульев. Затем он выразил горе, сообщив о том, что в Москве скончался выдающийся композитор Шостакович, который хоть и не был евреем, но также и не был антисемитом и даже написал произведение для скрипки под названием «Еврейские мелодии».

— Сейчас брат Лифшиц, — с ленинградским произношением оповестил брат Шапиро, — исполнит нам «Еврейские мелочи» Шостаковича.

Все ясно, — тихо вздохнул мой сосед. — У этих братьев получишь от жилетки рукава. Но зато хоть хорошую музыку бесплатно послушаем Брат Лившиц — крепкий старик с добрым и грустным лицом, поднялся со своего стула и уперся лысиной в ступеньку повисшей над нами лестницы. В руке он держал скрипку и смычок. Вынул другой рукой из кармана сложенный вчетверо носовой платок и положил его на Левое плечо. Потом на платок легла дека скрипки, а на деку-подбородок скрипача.

Я подвинул стул, приготовившись слушать, и тут увидел первого настоящего масона. Каменщика. В фартуке. Правда, в руках у него был не мастерок, а большой медный поднос, густо уставленный стаканами с чаем. И был это не каменщик, а, скорее, каменщица, потому что все половые признаки, как-то: широкий, отставленный зад, большие груди, нависавшие над фартуком, а также прическа и серьги в ушах — утверждали, что это женщина. За исключением черных усов на верхней губе, внушавших сомнение.

— Каменщик? — шепотом спросил я моего соседа.

Он оглянулся и хмыкнул.

Буфетчица. Понесла чай американским братьям. Русским братьям в последнюю очередь.

Скрипач поднял смычок, его седые брови трагически заломились, и глаза наполнились скорбью. Мы все затаили дыхание, настроились на печальные еврейские мелодии русского композитора Дмитрия Шостаковича.

Смычок лег на струны и взмыл вверх, издав жуткий скрипучий звук, какой издает несмазанное колесо. У скрипача округлились глаза, а мы все повернули головы к подножию лестницы. Звук исходил не из скрипки, а оттуда. Толстая буфетчица, балансируя на вытянутых руках подносом с чаем, ступила на нижнюю ступеньку и замерла сама, услышав исторгшийся из-под нее треск и визг сухого дерева.

Скрипач сделал еще одно движение смычком, и снова скрип лестницы перекрыл инструмент в его руках: буфетчица сделала второй шаг.

И дальше точно в такт движениям смычка переставляла ноги по лестнице буфетчица, и мы слышали только скрип и стон ступеней под ее весом. Когда она преодолела последнюю ступеньку, наполнив помещение особенно режущим звуком, скрипач тоже сделал последний взмах смычком, потому что по партитуре он дошел до финала, и, отставив скрипку, глубоко поклонился публике, лоснясь вспотевшей лысиной. Из всех нас он единственный слышал мелодию. И то в уме. Мы, клянусь честью, ничего, кроме скрипа лестницы, не уловили.

Уже покидая старинный дом масонской ложи «Бней Брит», мой сосед виновато покосился на меня и сокрушенно вздохнул:

— Еврейские мелодии.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА

— Весь мир — антисемиты, — сказала тетя Соня, и в ее еще ясных и выразительных, несмотря на преклонный возраст, глазах не промелькнуло ни тени сомнения. — Они нас не любили, не любят и никогда не будут любить!

Под словом «они» тетя подразумевала весь мир, все его население. За небольшим, крохотным исключением.

— Но исключение только подтверждает правило. — В бескомпромиссном взгляде тети Сони еще мерцали остатки ее прежнего, от молодых лет, темперамента.

Мы сидели в ее очень чистой и с хорошим вкусом обставленной квартире, в самом сердце Парижа — чудесном Пасси, в двух шагах от Трокадеро, а там уж рукой подать до Эйфелевой башни.

Неплохое местечко выбрала тетя Соня для проживания. Дай Бог каждому еврею такое. Правда, тогда бы это был бы уже не Париж, а Бруклин. И первой бы оттуда уехала тетя Соня.

Называть тетю Соню тетей было явной натяжкой с моей стороны. Какая она мне тетя? У моего отца был двоюродный брат, а у него, как у каждого приличного

человека, есть жена. Так вот эта жена приходится тете Соне дочерью ее покойного мужа от первого брака. Тетя Соня какое-то время подвизалась в роли ее мачехи.

Какое это имеет отношение ко мне? Я ее с тем же успехом мог называть не только тетей, но и дядей. Благо под ее еврейским носом вились весьма заметные, с серебристой сединой, усы — мечта гусара и верный признак страстной, темпераментной натуры.

Даже в безобидный, ничего не значащий разговор за обедом она вкладывала столько пылкой энергии, что невидимые магнитные волны устраивали бешеную пляску над моей головой, а серебряная ложка с супом начинала светиться в моей руке.

Я был в Париже в первый раз, денег у меня было — только не умереть с голоду, и мне дали телефон тети Сони в надежде, что она не оставит меня без внимания. Я позвонил ей неделю назад, и из телефонной трубки на меня хлынул водопад родственных чувств, завершившийся приглашением на обед, настоящий еврейский домашний обед, который я, по мнению тети Сони, уже не помню, конечно, как пахнет.

И вот я обедаю на севрском фарфоре, серебро вилок и ложек непривычно подрагивает в моих пальцах, хрусталь люстры давит своим весом на мои плечи, а тетя Соня сидит напротив, пожирает меня своими любвеобильными родственными глазами и получает от этого большое удовольствие.

— Ну где ты ел такое? — сверкает очами тетя Соня. — Ну, признайся честно... Тот-то! Ешь, ешь, не стесняйся. Мы, евреи, все родственники друг другу. Остальной мир — наши враги. Они нам не могут простить, что мы на свете живем.

Твое счастье — ты не жил в Париже под немецкой оккупацией. Ты не смотри на их улыбочки. У этих французов. Внешне они вежливые, а что кроется под этим? Ты не знаешь — я знаю.

Немцы издали приказ — всех евреев депортировать. Куда? Теперь-то мы знаем — в Аушвиц, в газовые камеры. Что ты думаешь, у этих французов от расстройства пропал аппетит и кто-нибудь отказался от ужина в положенное время? Мы остались одни, наедине со своей несчастной судьбой.

Правда, один француз зашел. Наш жандарм. Предупредить, что завтра в 12.00 я вместе с детьми должна быть на сборном пункте, и если он к этому времени застанет нас дома, то собственноручно доставит туда. Сукин сын! Двадцать лет знакомы и приходит меня пугать.

Честно признаться, не такой уж он был сукин сын. Даже наоборот. Сделал намек: убирайтесь куда глаза глядят, завтра будет поздно. Можно сказать, он нам жизнь спас. Но таких среди них — единицы. Исключительный случай.

Мне намек не нужно было дважды повторять. Через полчаса мы испарились. Бросив все как было. Ключи швырнула соседке. Бери, мол, пользуйся. Такая мадам Буше. Из обедневших аристократов. Ты же знаешь, как они нас любят?

Но эта мадам была исключением. Попадают иногда такие. Когда мы через несколько лет вернулись в Париж, эта старушка, божий одуванчик — пусть земля ей будет пухом, она умерла от истощения, — отперла нам квартиру, и я глазам своим не поверила: все стояло как было, даже ни одной серебряной ложки не пропало, и цветы в горшках политы и не завяли. Ты, кстати сказать, ешь суп этой ложкой, которую мадам

Буше сберегла. А ведь могла продать. И неплохо питаться. Попадают такие. Но она — исключение.

Я брела по Парижу со своими детьми и не знала, куда спрятаться, как выскочить из этого проклятого города, где французы сидят в кафе и кушают, а я умираю от страха и не знаю, что делать. Кругом немецкие патрули, проверяют документы, одним словом, конец.

Останавливается возле нас грузовик с фургоном. За рулем — бандитская морда в немецкой форме. Коллаборационист. Предатель. Пошел к ним на службу, чтобы грабить безнаказанно таких, как я.

Но, как видишь, я сижу перед тобой и кормлю тебя обедом. Потому что этот подонок был исключением. Он быстро сообразил, кто я, в каком положении и что ищу. Усадил меня с детьми в фургон, навалил сверху пустые ящики — я вся потом в синяках ходила, пропади он пропадом — и через все немецкие заставы, у него был пропуск, вывез нас из Парижа.

Догадайся немцы, кого он везет, его бы тут же пристрелили. Ты не поверишь, он оказался на удивление приличным человеком. Довез нас до деревни, и когда я хотела ему заплатить, — у меня еще были деньги, — ничего не взял. И даже обругал меня неприличными словами, при детях, что не характеризует его с лучшей стороны. Бог с ним! Я его простила.

Теперь представь себе наше положение. Мы одни, среди этих антисемитов-крестьян. Без документов, без денег, они скоро кончились, и без хлебных карточек, «а питание в войну было нормировано, и без карточек ничего не купишь. Ложись и умирай! Что я пережила с детьми, рассказать — не поверишь.

Мы прятались в деревне на чердаке и только ночью спускались в дом к хозяевам. Они нас подкармливали. Попались хорошие люди. Нам повезло. Среди сплошных антисемитов нарваться на таких людей! Это было, конечно, исключение. И они, и их соседи. Они все знали и никуда не донесли. Даже подбрасывали что могли: десяток яичек детям, кусочек сыру, кружку молока. И на том спасибо. Пронюхай немцы про нас — их бы по головке не погладили. Но, слава Богу, кошмар кончился — Париж свободен. Мы вернулись домой. Наша консьержка, ну, привратница, очень удивилась, что мы живы. Противная баба. Правда, назвать ее антисемиткой я не могу. Когда я захотела приготовить детям покушать, а газ не работал, она мне сказала: — Возьмите ваш уголь в подвале.

Ты можешь себе представить, сохранила мой уголь. Попадают и такие, скажу я тебе. Но это исключение.

Ты впервые в Париже. Слушай меня. Не очень им доверяй. Не развешивай уши. Они все — жуткие антисемиты.

И тетя Соня стала участливо расспрашивать меня, в каком отеле я остановился, что ем и сколько плачу за это. К себе, хоть в ее большой квартире, кроме нее, никого не было, жить не пригласила. Я сказал ей, что в отеле не живу, у меня для этого нет денег, но по счастливому случаю бесплатно ночую в одной французской семье. Я с ними познакомился в поезде по дороге в Париж, и они уговорили меня пожить у них.

Удивительно, — пожалала плечами тетя Соня. — Тебе просто повезло. Исключительный случай. А вообще, не будь ребенком и не строй иллюзий — кругом

одни антисемиты, и этому никогда не будет конца.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Что такое морская болезнь, вы знаете? Уверяю вас, симптом этой болезни

— отнюдь не желание выйти на морские просторы. А скорее, совсем наоборот. Это когда вас тошнит от моря. То есть от морской качки. Нормального сухопутного человека, когда он стоит на качающейся палубе, а качается палуба оттого, что на море поднялись волны, и они играют кораблем, как игрушкой, и вы перестаете понимать, где пол в каюте, а где — потолок, и какая стена — правая, а какая —

левая, вот тогда все внутренности нормального сухопутного человека начинают проситься наружу, его тошнит немилосердным фонтаном, и матросы, убирая за ним все, что он съел еще на твердой земле, ругаются непристойно, как это умеют делать только матросы, и их тоже начинает мутить.

Следовательно, нужны волны, нужен шторм на море, чтобы вас поразила морская болезнь.

Ну, а что вы скажете, если я опишу вам случай, когда люди заболели морской болезнью при абсолютном штиле, когда море было гладкое, как моя лысина, без единой морщины на поверхности воды, как на хорошо отутюженной скатерти. А людей тошнило и на палубе и в каютах, и они дружно блевали на все предметы, которые попадали в поле их мутного зрения, и друг на друга тоже, как говорится, на брудершафт.

Такого не бывает с нормальными людьми, скажете вы, и я с вами спорить не стал бы. Но ведь я говорю о евреях. А жизнь еврея разве можно назвать нормальной? И если называть ее нормальной, тогда объясните мне, неразумному, что такое жизнь ненормальная?

Но сначала скажу пару слов, о каких евреях идет речь.

Это не какие-нибудь евреи. Это — немецкие евреи. Конечно, не те настоящие немецкие евреи, которые выглядят и ведут себя как немцы, больше, чем сами немцы. Такие в Германии почти не сохранились. Их, а вернее, их потомков еще можно встретить в Израиле или в Америке. Они дисциплинированы и точны и даже, когда праздну гуляют, похожи на марширующих солдат.

Немецкие евреи, о которых пойдет речь, разговаривают на ломаном идише в полной уверенности, что это и есть немецкий язык. Если бы Гете или, скажем, Шиллер сохранили слух на том свете, они перевернулись бы сейчас в гробу, и не единожды, услышав, как порой разговаривают по-немецки на улицах Западного Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и в маленьком городе Оффенбах, где концентрация таких евреев особенно насыщенная.

Евреи эти стали немецкими совсем недавно. А до того они были русскими, советскими евреями— и другими себя не мыслили. На еврейских кладбищах городов и местечек западной части России, если эти кладбища чудом убереглись от рук антисемитов и не сровнены бульдозерами, на этих кладбищах покоятся их предки на десять поколений назад.

В Германии, как известно, Гитлер провел капитальную чистку евреев и сделал свой фатерланд «юден-фрай», то есть свободным от евреев. Но разве может какая-нибудь страна долго прожить без евреев? Это исключено. Аборигены почувствуют себя как-то неуютно, обойденными судьбой. Скажем, если очень чешутся руки и мучительно хочется кого-нибудь бить, колотить, резать, а в стране, хоть ты вой, нет ни одного еврея, то ведь придется бить своих братьев, а это лишает битье аромата, той необычной услады, какую доставляет треск еврейских черепов.

Свято место пусто не бывает.

Сразу после войны, когда очищенная от евреев Германия лежала в руинах и еще не выветрила запаха пожара, там уже появились первые евреи. Польские. Из тех, кого почему-то не успели дорезать в Польше. И они от своих польских антисемитов, ставших коммунистами, побежали к немецким, стыдившимся вспоминать, что они были фашистами.

Много лет спустя поднялись со своих мест русские, советские евреи. Поднялись куда? В Израиль. На историческую родину.

Из Советской России никого не выпускают. Как из тюрьмы. Нет, вру. Из тюрьмы все же выпускают, когда истекает срок заключения. В СССР все население: и русские, и украинцы, и татары томятся в пожизненном заключении. Только для евреев сделали исключение — так силен был соблазн избавиться от них. И они поехали в Израиль, обобранные до нитки, но шальные от счастья, что хоть головы смогли унести.

Выскочив на свободу и оглядевшись по сторонам, кое-кто смекнул, что в Израиле живут одни евреи, а в Германии евреев почти нет. Страна же процветает даже больше, чем Америка. Так почему же еврею не вкусить хоть немножко от немецкого процветания? И рванули в Германию. Не спрашивая разрешения.

Германия не очень охотно пускала к себе евреев, хотя захлебывалась от любви к евреям и от чувства вины перед ними за прошлое. От евреев, пожелавших стать немецкими гражданами, требовали, чтобы они подтвердили документально или под присягой свидетелями, что они хоть какое-то отношение к Германии имеют. Скажем, в жилах течет немножко немецкой крови... Или ты вырос в атмосфере немецкой культуры.

И евреи из Житомира и Киева, Минска и Одессы ввали напропалую, выдумывая небылицы, и приводили свидетелей, готовых подтвердить все, что угодно.

Мне рассказывали об одном малом, настолько обуянном страстью стать немцем, что он клятвенно заверил германские власти в том, что его мама, его еврейская мама, во время войны была изнасилована немецким офицером (не солдатом, а офицером!) и он явился на свет результатом этой любовной интрижки. Посему он просит считать его немцем и дать паспорт Федеративной Республики Германии. Этот полунемец даже не удосужился повнимательнее заглянуть в свои документы, где значился возраст матери. По этим документам явствовало, что она, бедняжка, во время войны была почти младенцем, и если бы немецкий офицер как-то умудрился ее изнасиловать, то уж, по крайней мере, зачать и произвести на свет такого скота она никак не смогла бы.

Мне скажут, что надо быть черт знает кем, чтобы еврею захотеть жить в Германии после того, что там произошло с евреями. Ну, а жить на Украине, где украинская полиция резала евреев, не дожидаясь приказа, а для душевного удовольствия? Или в

Польше, где всю черную работу по ликвидации евреев взяли в свои руки местные громилы?

Если так смотреть на вещи, то, пожалуй, на всей земле не найдется места, где еврей может жить не смущаясь.

Так что можно жить и в Германии. Благо страна богатая и чистая. И паспорт дают почти сразу. А паспорт немецкий чего-нибудь да стоит.

Россию покидают, имея билет в одно направление. О возвращении обратно не может быть и речи. Ни туристом, ни в гости, ни по телеграмме о смерти ближайшего родственника. Советскую Россию покидают навсегда. Без права въезда обратно.

Почти у каждого еврея там осталась родня. Порой и папа с мамой. Одних не выпустили по причине их ценности для России. Другие сами никак не могли решиться. Мол, могилы предков, земля, на которой вырос... Ну и что с того, что евреи здесь не в чести? А где их особенно любят? Живут и без взаимной любви. Увольняют с работы? Детей не принимают в университет? Но пока еще, слава Богу, не режут, не убивают на улицах. И ломались семьи надвое, разлучались люди на срок, уму непостижимый.

Проходит год. Два. Три. И вдруг мучительно захочется их увидеть. Но... Нельзя. Визу не получишь. Сиди и тоскуй. Довольствуйся письмами, полными невнятных намеков, и лихорадочными телефонными разговорами, которые слушают чужие и недружественные уши.

С немецким же паспортом, оказывается, бывший советский еврей может ступить на землю своей бывшей родины. Ей-богу! Бывают же на свете чудеса!

Сначала этот слух показался настолько фантастическим, что никто всерьез его не воспринял. Потом стали возникать подробности, уже внушавшие кое-какое доверие.

Оказывается, какая-то немецкая туристская компания организует рейсы по Балтийскому морю с короткими однодневными стоянками в польских и скандинавских портах. А также с заходом в советский порт Рига. Там пассажиры сходят на берег и знакомятся с городом. А к ночи возвращаются на пароход.

В такой туристской поездке не требуется виз. И в Ригу можно въехать без визы. А раз не нужно визы, то не нужно предъявлять советским властям подробных анкет с указанием места рождения и времени убытия из страны прежнего проживания. Следовательно, никто не может догадаться, что ты бежал оттуда. А то, что ты еврей, в немецком паспорте, в отличие от советского, не записано.

Воистину открылась неожиданная возможность хоть на один денек заглянуть в страну, где родился, и повидаться с теми, кого там оставил. Теперь задача была в том, чтобы родные в точно указанный день из разных концов России стянулись в Ригу и к прибытию парохода уже стояли в порту. Не как встречающие. Упаси Бог! А просто как зеваки, как любопытная публика, пришедшая поглазеть на иностранцев. Это по советским законам не возбраняется.

Когда же туристы сойдут на берег, то пускай немцы идут себе на здоровье с гидами осматривать исторические достопримечательности Риги. Бывшие советские евреи, которые с немецкими паспортами выгрузятся в порту, хорошо знают эти достопримечательности, и они их волнуют как прошлогодний снег. Эти люди, отойдя немножко от порта, бросятся в объятия к родным, которые будут дожидаться за углом,

как в засаде. А дальше ресторан... икра... шампанское... и все тому подобное, что можно достать лишь за иностранную валюту. И разговоры... разговоры... разговоры... Перемешанные с поцелуями и слезами. Без усталости и без перерыва. До самого последнего мига, пока не нужно будет возвращаться на пароход.

Родных надо заранее предупредить. Сообщить, когда им следует быть в Риге и, подавив волнение и слезы, изображать в порту празднующую публику. Послать телеграмму? Выдать властям секрет. Письмо? Все письма из-за границы прочитываются там, где следует. Заказать международный разговор по телефону? Подслушивают.

Ну и пусть слушают, пока не лопнут барабанные перепонки. Не обязательно говорить открытым текстом. Для чего существует эзопов язык? Намек? Слава Богу, евреи не самые тупые люди на земле, и у них в мозгу извилин, по крайней мере, не меньше, чем у других народов.

Значит, не откладывая в долгий ящик надо звонить. Потому что билет уже заказан и пароход отчаливает через парочку деньков.

Зазвенели звонки в московских, киевских и одесских квартирах. И разговоры были разными, но чем-то похожими на близнецов. Через треск помех, через сопение подслушивающих операторов.

Выглядело это примерно так:

— Алло! Алло! Мама?

— Смотря чья? Кто это говорит? Твой сын. Не узнаешь?

— Не может быть! Яша?

— Мама, я сам знаю, как меня зовут. Здравствуй. И слушай внимательно, что я тебе скажу.

— Яшенька, солнышко, откуда ты? Ой, у меня сердце разорвется от радости. Я слышу твой голос...

— Ты можешь не только услышать меня, но и увидеть.

— Как? Ты шутишь?

— Слушай и старайся понять.

— Что понять?

Ты меня увидишь, если будешь в Риге такого-то числа.

Ты приедешь в Ригу?

— Ну, зачем такие вопросы? Слушай и запоминай. Будь в порту. Там много красивых пароходов. Ведь ты любишь смотреть на пароходы? Так вот: один пароход будет называться «Карл Моор».

— Карл Маркс?

— Какой Карл Марко? Тебе говорят русским языком— Карл Моор.

— Яшенька, я не пойму, кто такой Карл Мо... черт выговорит... Ты с ним подружился?

— Карл Моор — то, понимаешь, герой пьесы Шиллера...

— Герой Советского Союза?

— Нет. Герой пьесы Шиллера «Разбойники».

За тридевять земель, из-за «железного занавеса», доносится глубокий вздох:

Хорошенькое дело... с кем ты там связался. А это... не опасно?.., с этими... с разбойниками?

— Мама! Я ни с кем не связался. Так называется пароход.

— Именем разбойника? Боже мой, куда тебя судьба занесла.

— А ты думаешь, именем Карла Маркса назвать пароход-это лучше?

Пауза, Подслушивающие дяди начинают сопеть гуще.

Затем примирительный голос мамы:

— Что мы с тобой спорим, Яшенька? Каждая минута стоит Бог знает сколько, а деньги легко нигде не достаются.

Так ты поняла, что я хотел тебе сказать?

— Ничего не поняла, Яшенька.

Теплоход «Карл Моор» отправился в круиз по Балтийскому морю с немецкой пунктуальностью точно по расписанию и без единого непроданного билета. Все каюты корабля заполнены пассажирами, в ресторане невозможно отыскать свободный столик, на палубе толпами прогуливаются туристы. Среди немецких тевтонских лиц густо были вкраплены еврейские физиономии с извечной мировой скорбью в глазах, хотя все настраивало на праздничный лад.

Впереди за несколько сот километров балтийских вод грезилась Рига и дорогие лица оставленной в России родни. И даже не очень благоприятствовавшая погода — волнение на море не могла понизить тонуса. Никто из русских евреев не страдал от морской болезни: сказывалось радостное возбуждение от предстоящей встречи. Некоторых немцев, правда, подташнивало. То ли от бортовой качки, то ли от непривычного зрелища такого обилия семитских лиц и не вызывающих добрых воспоминаний звуков русской речи.

Первым портом, который они навестили, был польский Гданьск, когда-то называвшийся по-немецки Данцигом. Поэтому у немецких туристов экскурсия по городу вызвала ностальгическое волнение: кто-то узнал среди красных готических зданий дом, в котором родился, провел детство и откуда его невежливо прогнали поляки после второй мировой войны.

Евреев Гданьск оставил равнодушными. От города осталось в памяти лишь то, что здесь баснословно дешево продавалась на иностранную валюту водка, и ее закупили по полудюжине бутылок и притащили на пароход, предвкушая распитие с родными в Риге.

В Ригу пароход пришел солнечным утром, и панорама города, встававшая навстречу, с колокольнями и башнями церквей, изумрудно-зелеными от времени и соленых морских ветров, вышибла не одну слезу у русских евреев, теснившихся у перил и во все глаза пытавшихся разглядеть людей на причале.

Людей на причале было много, в форме и в штатском. Без радости на лицах, а со

служебно-непроницаемым выражением на них. Капитан парохода «Карл Моор», не первый раз заходивший в этот порт, удивился такому количеству официальных особ, пришедших на причал. А далеко сзади за железной оградой, охраняемой вооруженными солдатами, виднелись скопления гражданской публики, взволнованной и возбужденной и на удивление однородной по национальному составу — исключительно одни евреи.

У въезда на причал стояли милицейские автомобили и мотоциклы. Кругом мелькало столько вооруженных людей, что можно было подумать, будто Рига приготовилась отразить высадку вражеского десанта. Пассажиры хлынули с парохода с немецкими паспортами в руках. Их пропустили, как сквозь сито, незаметно разделив на две группы. В одну попали исключительно немцы, в другую — бывшие русские евреи, обладатели немецких паспортов. Вторую группу тут же оцепили люди в штатском.

Подожли туристские автобусы. Немцы, весело болтая, расселись в них и укатили, сверкая солнечными очками, вставными зубами и бриллиантовыми сережками в ушах. Евреи тесной толпой остались на причале.

За железной оградой, почуяв неладное, тревожно загалдели встречающие.

Приехавших евреев молча, как арестантов, погрузили в один автобус, заперли двери, и молодая, без улыбки, русская девица-гид обратилась к ним на чистом немецком языке, а водитель с каменными плечами кадрового военного недобро оглядывал своих пассажиров в зеркальце над ветровым стеклом.

— Дорогие гости, — сказала гид. — Мы рады приветствовать вас в столице Советской Латвии — городе Рига. Сейчас мы с вами совершим экскурсию по городу, и вы увидите исторические достопримечательности красавицы Риги. А после экскурсии вернемся в порт.

— Простите, — сказал по-русски, робко подняв руку, как прилежный школьник, один из пассажиров. — А выйти из автобуса в городе мы сможем?

Ничто не дрогнуло в белесом славянском лице гида. Не удивившись вопросу, заданному по-русски, она тем не менее ответила на немецком языке:

— К сожалению, из-за недостатка времени мы не сможем предоставить вам такой возможности. Достопримечательности Риги вы увидите из окна автобуса.

— И обедать будем в автобусе? — раздраженно спросил другой голос по-русски.

— Обедать вы будете на своем корабле, — по-немецки ответила гид. — Мы вас не станем утомлять экскурсией. Как раз к обеду вернемся в порт.

Наглухо запертый автобус рванул с места, охрана распахнула железные ворота, и среди сгрудившихся с обеих сторон дороги людей пассажиры успели разглядеть родные лица, мелькнувшие до боли знакомыми пятнами. Автобус на большой скорости уходил в город. А за ним, догоняя и отставая, устремилась вереница легковых автомобилей — частных и такси. В этих автомобилях мчались, как на похоронах, зареванные родственники, заклиная шоферов не терять из виду туристский автобус.

Гид долго и скучно бормотала в микрофон по-немецки заученные тексты, рекомендуя пассажирам посмотреть то налево, то направо. Автобус не останавливался,

лишь замедляя ход возле достопримечательностей города, о которых монотонно повествовала гид.

Проносились улицы и бульвары, памятные многим пассажирам автобуса по прежним временам, еще в бытность советскими гражданами. В Ригу ездили со всех концов России, чтобы провести отпуск на Рижском взморье или купить что-нибудь в рижских магазинах, потому что Рига была городом, открытым для иностранных туристов, и поэтому снабжалась товарами лучше других городов.

Теперь они сами были иностранными туристами. Но туристами особыми, не достойными обязательного казенного гостеприимства, и поэтому их закупили в автобусе и катали, как в клетке, по городу, на немецком языке расхваливая им прелести страны, из которой они сами еле ноги унесли.

Водитель автобуса играл с преследовавшими его автомобилями в кошки-мышки. То увеличивал скорость, то внезапно сворачивал в сторону, на время скрывшись из виду. В автомобилях начинались рыдания и стоны, утихали они, когда нагоняли туристский автобус.

Так и колесили по городу. Со слезами на глазах у тех, кто был в автобусе, и громким плачем в старавшихся не отстать легковых автомобилях.

Но всему приходит конец. Пришел конец и этой гонке. В туристский маршрут входило обязательное посещение рижского кладбища — одного из самых красивых кладбищ в мире, славящегося удивительными памятниками на могилах и прекрасно спланированными аллеями и газонами. Лучше этого кладбища, пожалуй, только одно во всем мире — в итальянском городе Генуя.

На кладбище, разумеется, нельзя разъезжать в автобусе. Поэтому перед воротами пассажиров выгрузили и повели цепочкой под сень старых каштанов и лип, к линиям мраморных и гранитных надгробий, утонувших в зелени стриженных кустов.

Гид еще по инерции продолжала вякать по-немецки, но ее никто не слушал. В ворота кладбища бежали с воплями и плачем родственники туристов: сестры, мамы, бабушки, волоча за руки детей. И тогда туристы бросились врассыпную. Заметались, ища своих, и, найдя, без поцелуев и объятий, лишь хватались за руки и устремлялись в глубь аллеи, подальше от обалдевшего гида.

Скоро исчезли все. Рассосались среди могил. Залегли в кустах, укрывшись за мраморными и гранитными крестами. На чужих могилах, прямо на земле и на скамейках евреи тискали друг друга, чуть ли не душили от радости, хором рыдали и наперебой хохотали, раздавали подарки и даже наспех заглывали по стаканчику польской водки, закусывая пирогами и булочками, сухими и черствыми, потому что их заботливо пекли два дня назад и везли в Ригу черт знает откуда, чтобы сыночек или дочь вспомнили вкус домашнего маминого печенья.

Гид и водитель металась по аллеям и уже не по-немецки, а по-русски, громко, сложив ладони рупором, приказывали всем вернуться к автобусу.

Потом приехал автомобиль, полный милиции. За евреями гонялись по всему кладбищу, топча траву на могилах, опрокидывая горшочки с цветами. Еврейки голосили и царапались, когда милиционеры пытались оторвать их от туристов. Да и туристы, из мужчин по — крепче, матерясь по-русски, тоже не давались им в руки.

Два часа стонало рижское кладбище, пока удалось всех туристов загнать в автобус, запереть и, пересчитав по головам, на предельной скорости умчаться в порт.

На сей раз легковые автомобили не преследовали автобус. Родственники с опухшими от слез глазами пешком побрели с кладбища и продолжали всхлипывать, так что встречные принимали их за семьи, только что похоронившие близких. И при этом удивлялись, вспоминая, что кладбище-то христианское и евреи там никак не могут быть погребены. И еще больше изумлялись, спохватившись, что кладбище закрыто много десятков лет и на нем давно никого не хоронят, а лишь показывают красивые надгробья экскурсантам.

Вечером пароход «Карл Моор» вышел из Рижского порта в Балтийское море. Стоял полный штиль. Дышалось легко и свободно. А людей в каютах и на палубе тошнило. От свидания с родиной. Как от самой настоящей морской болезни. Люди перевешивались через поручни, и их рвало за борт, прямо в море. И чайки с криком ныряли вслед, проносясь у самых лиц, опухших от слез.

ФАМИЛЬНОЕ СЕРЕБРО

На Балтийском побережье не только рядовой дачник не может предугадать погоду, но даже и синоптики. Предвещали весь август жарким и сухим, а до самого конца летнего сезона моросили нудные дожди, море было свинцово-серым с каймой грязной пены у набухшего влагой и потерявшего золотой цвет песчаного пляжа.

Дачи по всему Рижскому взморью быстро пустели. Раздраженные, с кислыми физиономиями, люди раньше срока покидали курорт, теряя вперед уплаченные деньги и единственную в году возможность отдохнуть.

Я снимал комнатку в деревянном доме, два этажа которого латышская семья, сама на лето перебравшаяся в мансарду, сдавала курортникам. Моими соседями были евреи из Ленинграда и Москвы, приехавшие на это полюбившееся им взморье с детьми и бабушками, электрическими плитками, термосами и транзисторами. Сейчас они складывали свои пожитки, так и не успев загореть.

За дощатой перегородкой я слышал недовольные голоса, затем раздраженный крик. Стены в доме такие тонкие, что я различал не только голоса, но и скрип стула и ночной храп. Ссорились две старухи: хозяйка-латышка и еврейская бабушка из Москвы. И еврейка и латышка, обе владели русским языком весьма приблизительно, и речь их была окрашена непробиваемым акцентом, у каждой своим, так что со стороны эта ссора могла вызвать только улыбку.

Я был знаком с обеими. Каждое утро здоровался с ними, иногда перекидывался парой-другой слов. Не больше. Но и этого было достаточно, чтоб иметь кое-какое представление об их прошлом. Обе пострадали в годы второй мировой войны. У еврейки, подвижной старушонки с неразгибаемой спиной, погибли в гетто почти все родственники, а с фронта не вернулись муж и сын. В живых осталась лишь дочь, и когда та, подросши, вышла замуж за приличного человека, мать осталась при них экономкой, кухаркой и нянькой внучатам. Мне она под строгим секретом проговорила, что они всей семьей собираются в Израиль и ей ни капельки не жаль расставаться с этой антисемитской страной, будь она трижды неладна.

Латышка была примерно ее лет. Немногословная, замкнутая и не скрывающая своей неприязни к нам. дачникам, понаехавшим на лето из России в ее родную и, как она считала, оккупированную Латвию. А то, что мы лишь русские евреи, а не русские, не смягчало в ее глазах нашей вины. Все евреи у нее ассоциировались с комиссарами, приведшими сюда русских солдат и лишивших бедную Латвию, как невинности, ее такой недолгой независимости. Поэтому во вторую мировую войну ее сын пошел служить в немецкую армию, чтоб мстить русским, и не вернулся домой. Тогда же она потеряла и дочь. Осталась доживать с мужем, и этот дом на взморье был ее основным кормильцем. Она сдавала комнаты всем, кто согласен был уплатить довольно высокую цену. И даже евреям. Ибо евреи составляли большинство дачников и платили, не слишком торгуясь и вперед.

Я вслушивался в нелепую, с жутким акцентом, перебранку за стеной, и то, что я слышал, вовсе не настраивало на улыбку. Старухи не очень церемонились и били друг дружку по самым болезненным местам. По национальным. Еврейка в гневе обличала не только хозяйку, но и всех латышей в том, что во время войны они вместе с немцами убивали евреев и грабили еврейские дома. И что этот дом на взморье, она уверена, тоже принадлежал евреям, а они с мужем убили их обитателей и завладели чужим добром. Латышка не оставалась в долгу и проклинала евреев, которые всегда, по ее глубокому убеждению, были врагами Латвии и открыли двери русским большевикам и вместе с ними выгоняли латышей из их домов и отправляли их в холодную Сибирь. И как последнюю и главную причину своей неприязни к евреям латышка швырнула дачнице гибель дочери. Не от руки евреев. Но из-за них.

Озлобленные крики за стеной били по моим ушам:

— Жиды! Иуды! Оккупанты!

— Латышская свинья! Убийцы! Предатели! Дольше оставаться в доме не было моих сил. Набросив на плечи плащ (зонт я не прихватил из Москвы, потому что до осени было далеко), вышел под мелкий морозящий дождь на пустынную улицу. Низко бежали лохматые серые тучи. Порывы ветра с моря раскачивали верхушки сосен, и оттуда, как град, на мою голову пригоршнями сыпались крупные капли.

Улица, как просека в лесу, полого спускалась к пляжу, и в створе крайних сосен виднелось море— уголок темно-пепельной мути, нечеткой линией отделенной от неба, тоже пепельного цвета, но чуть посветлее.

От соседей и от других дачников, приезжающих сюда ежегодно и поэтому бывших в курсе всех дел обитателей взморья, я кое-что знал о том, что случилось с дочерью нашей хозяйки. Я составил эту историю из обрывков, услышанных от несловоохотливых, но знающих правду латышек и многословных и подозрительно далеких от истины дачных кумушек. И история эта звучала печально и светло, как фольклорные старинные легенды о верной и трагической любви, что переходят из поколения по всему Балтийскому побережью, как сестры, схожие одна с другой, и у латышей, и у литовцев, и у эстонцев. У евреев подобных легенд я не слышал. И может быть, эта, если время ее не сотрет, восполнит пробел в еврейской мифологии и прибавит также кое-что к латышским сагам.

Потому что героями этой легенды, подлинными, не вымышленными, были латышская девушка Милда и юный еврей Ян, имя которого по-латышски звучало Янис. Как у героинь старых саг, у Милды были густые золотые волосы до пояса и

серые, как небо над Балтикой, глаза. Янис был смугл, и волосы его вились кольцами, а глаза темно-карие, как спелые вишни на синеве белков.

Между ними была любовь. Тихая, даже потаенная. Потому что и латышские родители Милды, и еврейские— Яниса не одобрили бы ее. И завязалась эта любовь задолго до того, как немецкие войска оккупировали Ригу и загнали всех евреев в гетто, за колючую проволоку, поставив латышскую полицию сторожить. В гетто попал и Янис. Оттуда он выйти не мог. Милду же туда не пускали. Влюбленных разлучили. Потом евреев стали вывозить партиями в Румбулу, под Ригу, и там в сосновом лесу, в оставшихся от войны противотанковых рвах, расстреливали. Сотнями каждый день. Когда ров заполнялся телами доверху, новая партия засыпала могилу песком, а сама отправлялась в сопровождении палачей к другому рву, еще пустому. Противотанковых рвов вокруг Румбулы было много.

Улицы гетто пустели. Каждый день новые и новые дома оставались без обитателей, и из никем не закрываемых на ночь окон доносился лишь вой голодных кошек, которые хоть и прежде принадлежали евреям, но евреями не были и поэтому не подлежали уничтожению.

Семья Милды была состоятельной. Дом на взморье, большая квартира в центре Риги. Картины в дубовых рамах. Ковры. И предмет семейной гордости— столовое серебро старинной работы. Несколько столетий переходившее от прабабушки к бабушке, от нее к матери и предназначенное Милде, когда она выйдет замуж. Серебра хватало на большую свадьбу. Столько в наборе было ложек, вилок и ножей. А какие подносы! Кофейники! Сахарницы! Молочницы! Все из чистого серебра, тепло отливавшего за стеклянными створками дубового резного буфета. Мать обожала фамильное серебро и никому не доверяла, сама начищала его песочком и разными смесями, доводя до нестерпимого блеска.

Однажды серебро исчезло из дома. В ту ночь не вернулась под отчий кров Милда. И в следующую ночь тоже. Лишь много позже мать и отец узнали, куда девалось все фамильное серебро, а вместе с ним и их единственная дочь.

Не представляла себе Милда жизни без Яниса. Чтоб спасти его из гетто, нужны были деньги. Подкупить полицейскую охрану. Милда отнесла им фамильное серебро. Латыши полицейские ночью вывели Яниса за ворота гетто, где дожидалась Милда. А она уже повела его глухими улицами, рискуя наскочить на немецкий патруль, из города. Привела на взморье, в тот самый дом, где я нынче снимал комнату. Дом тогда пустовал. Родители жили в Риге.

А следующей ночью оба ушли в море. На веслах. В лодке, которую отец Милды держал на пляже для прогулок.

Я полагаю, что ночь была темной, безлунной. А море — бурным, штормовым. Ибо в полный штиль да при луне не отважились бы они пуститься в море, где рыщут немецкие сторожевые катера, а с неба прощупывают водную гладь самолеты-разведчики. Высокие волны и темнота могли их укрыть от чужого глаза. Но эти же волны швыряли лодку, как щепку, грозя потопить, и не давали двигаться вперед, норовя вырвать весла.

Как они удержались на плаву, не опрокинулись? Где взяли сил грести против волны, час за часом, всю ночь и день? Как миновали сторожевые катера,

прожекторными лучами рассекавшие пенные гребни волн? Как не столкнулись с рогатой плавающей миной, которыми Балтийское море было нафаршировано погуще, чем клетками мамин суп?

Все прошли, все миновали. И сил хватило. Потому что несли их крылья любви.

Они пересекли Балтийское море и достигли шведских берегов. В нейтральной Швеции, где войной и не пахло, они поженились и прожили счастливо четыре года до самой победы над Германией. И когда мир наступил на земле и по Балтийскому морю пошли вместо эсминцев пассажирские пароходы, с первым рейсом из Стокгольма в Ригу прибыли Милда и Янис. Соскучившись по Латвии и своим родным.

Латвия уже была не Латвией. А республикой в составе СССР. В Рижском порту пароход встретили советские солдаты и вопросы сошедшим на берег пассажирам задавали по-русски.

Яниса арестовали там же в порту. За то, что спасся из гетто, откуда другим уйти не удалось. Значит, что-то нечисто. Попахивает предательством. Объяснения Милды, что она выкупила его, отдав полицейским все фамильное серебро, никто слушать не стал. Янису дали десять лет лагерей за измену Родине и отправили в Сибирь.

А Милда сошла с ума.

Она бродила по Риге простоволосая, в грязной рваной одежде и заглядывала каждому встречному мужчине в лицо. А когда на улице никого не было, громко звала:

Янис! Янис!

Милиция ловила ее, отвозила к родителям. Ее запирали в доме на взморье. Каждый раз она убегала. И снова ее видели на улицах с глупой ухмылкой на некогда красивом лице, и снова люди слышали зов: — Янис! Янис!

Потом она пропала. По одним слухам, умерла в больнице, по другим — в бурную темную ночь бросилась в море и, перекрывая шум волн, звала: Янис! Янис!

Много лет спустя в Риге объявился Янис. Из Сибири. С седой бородой. Лишь глаза были те же. Темно-карие, как спелые вишни. С синевой белков. Он искал Милду. Не верил в ее смерть. Бродил, кружил по Риге, как потерявший хозяина пес. Просил указать ее могилу. Где похоронена Милда, никто не знал.

Однажды утром в самом центре Риги в парке у обелиска Свободы ранние прохожие обнаружили человека, висящего на поясном ремне, затянутом на толстом суку дерева. Одет он был в рваный сибирский ватник и лагерную шапку-ушанку.

Вот так вошел я в современную легенду Милда и Янис.

В моих ушах еще стояла крикливая свара матери Милды и еврейки-дачницы, когда я вышел в дюны и упругий встречный ветер с моря вздул парусом плащ на мне.

Пляж был безлюден. Волны с шумом накатывали на песок и ползли, шипя лопающейся пеной, почти до самых дюн, а выдохнувшись, стекали назад, оставляя темную, быстро светлевшую полосу. На тех местах, куда доползал пенный язык, оставалась грязная седина и почти черные жгуты водорослей, и это было границей, дальше которой заходить не стоило, чтоб не замочить ног. Я пошел вдоль кучек пены и водорослей, оставляя на влажном песке глубокие следы. Шел, уставившись под ноги, как искатель янтаря. Но я не искал в песке янтарных крупиц. Я брел, задумавшись, под

рокот прибоя.

По морю гуляла высокая волна. Быстро темнело, и луч прожектора с пограничного катера скользнул по белым гребням, как по спинам белых овец, словно считая их, и, дойдя до берега, на миг ослепил меня. Потом исчез, словно прожектор проглотил собственный язык.

Я думал о том, что Милда и Янис бросились в море, когда шторм был посильней этого. И так же тогда прощупывал бараньи спины волн прожектор. Да еще мины, круглые и черные, утыканные рогами, как черти из подводного царства, выпрыгивали из пучины то справа, то слева от лодки, и Милда и Янис поднимали вверх весла, словно сдаваясь судьбе, и замирали, бессильные что-либо сделать.

Какая силища у любви! Только любовь могла дать им волю и выдержку, сверхчеловечью силу. Они прошли, где утонули бы в неравной борьбе с волнами самые опытные гребцы. Они проскочили мимо мин, сторожевых катеров и самолетов, куда посчитал бы безумным сунуться военный разведчик.

Латышская девочка и еврейский мальчик.

И сейчас в доме, чьи стены на одну ночь укрыли эту любовь, старые латышка и еврейка готовы были вцепиться в горло друг другу.

Меня снова ослепило. На сей раз не прожектор с моря. Задумавшись, я не заметил, как чуть не столкнулся с пограничным патрулем. Два молодых солдата, с русскими крестьянскими лицами, в зеленых фуражках и кирзовых сапогах, с автоматами на груди, проверили мои документы, хмыкнули, переглянувшись, при виде моей еврейской фамилии и велели найти для прогулок место подальше от моря, ибо с наступлением сумерек это уже не берег, а государственная граница СССР.

ПОТОМОК ЧИНГИСХАНА

— Заруби себе на носу, сынок, — сказал мой отец, не спуская глаз с гусяного перышка вертикально торчавшего из воды поплавок. — Из всех человеческих ценностей я превыше всего ставлю чувство собственного достоинства, которое отличает человека от скота и делает его венцом природы.

Мы сидели на мягком мшистом берегу тихой и ленивой русской речки, поросшей камышом и осокой, и удили рыбу самодельными удочками. За нами шелестели кружевными кистями листьев белые тонкоствольные березки, застывшие вперемежку с серыми осинами. Дальше высились темные верхушки елей. Забираться в лесную глушь, подальше от города и людей, просиживать до одури с удочками в руке стало в последние годы подлинной страстью для него, отставного полковника, повидавшего на своем веку столько, что и на сто человек хватило бы с лихвой. Он, все еще крепкий, с каменными мускулами на груди и руках, видно, очень устал от людей, от подлостей и измен и искал уединения, где можно бездумно, уставившись в одну точку, убивать время, оставшееся до могилы.

— Я, к примеру, — продолжал он, оторвав от губ приклеившийся конец сигареты, отчего приоткрылись еще крепкие, но желтые, насквозь прокуренные зубы, — оттого и жив до сих пор, что сохранял некую толику этого чувства. А не то сто раз бы погиб.

Это только кажется, что подлый и хитроумный народ живет подольше и слаще, а честный и прямой человек гибнет первым. Из того, чего я наглядился, напрашивается совсем иной вывод. И тут ничего не подведешь под общий закон. От национальных ли качеств это зависит, от родительских ли генов? Не берусь судить.

Надо полагать, какой-то определенный закон естественного отбора распространяется на род людской, без различия рас, национальностей и вероисповеданий.

Чувство собственного достоинства в самом лучшем его виде проявляется у двух категорий людей: у крестьян, что трудятся на земле, выросли среди лесов и полей и привыкли хлеб добывать в поте лица своего, а также у интеллигентов. Подлинных, а не тех полуобразованных люмпенов, каких теперь встречаешь на каждом шагу. У интеллигентов развито понятие личной чести. И они не опустятся до низкого поступка, до скотского поведения, даже если на карту поставлена собственная жизнь. Они, к счастью, еще не лишились чувства стыда. А сколько народу даже не знает, что это такое?

Когда мой артиллерийский дивизион был разбит и, кто уцелел из личного состава, разбежались по окрестным деревням, я сорвал с себя командирские знаки различия, зарыл в землю партийный билет и в одиночку попытался пробиться из окружения к своим. Не вышло. Схватили.

И вот стою я в серой и грязной колонне военнопленных. Немцы нас построили в три шеренги и через переводчика объявляют:

— Кто еврей — три шага вперед!

Я сам поразился, как много евреев оказалось в колонне. Их всех отделили и поставили в другом конце плаца. Я, как ты догадываешься, даже бровью не повел, словно я не еврей. Стою где стоял.

Снова объявляют:

— Кто коммунист — три шага вперед! Их тоже в сторонку, к евреям.

Я — стою.

— Старший командный состав — три шага вперед! Их туда же, к коммунистам и евреям.

Потом всех, кого отделили, тут же на плацу и расстреляли. Из пулемета. На наших глазах.

А я, как видишь, жив и с тобой вот болтаю. Почему? Мне, сынок, надо было сделать не три шага, а целых девять. А, как знаешь, я — большой лентяй.

Он улыбнулся. Невесело. Слегка приоткрыв свои прокуренные зубы. Придавленные тяжелыми веками глаза не смеялись.

— Думаешь, я один был такой умный? Нашлось немало таких, что не вышли из строя по первому требованию. Но им не повезло, как мне. В колонне пленных оказались люди, что знали их и поспешили помочь немцам, выволокли их из шеренги.

Потому что немцы сделали верный расчет на психологию скотов. Голодных и опустившихся скотов. За каждого выданного еврея, или коммуниста, или старшего офицера тому, кто их выдаст, была обещана награда: сто граммов хлеба и пачка

махорки.

Я оказался достаточно везучим, чтобы не попасть в плен со своими сослуживцами. Во всей колонне ни один человек не знал меня. И поэтому остался жив и в состоянии рассказать тебе, до чего мерзок род людской, когда теряет те несколько качеств, слегка отделяющих его от животного. Я стоял, окаменев, в своей шеренге и не верил глазам своим. Солдаты, еще вчера вместе делившие тяготы фронтовой жизни, в одном окопе, локоть к локтю, отстреливались от врага, ели из одного котелка и спали вповалку, обнявшись, согревая друг друга теплом своих тел, выводили, выталкивали из строя своих товарищей, отдавали в руки палачей и тут же бесстыдно и униженно просили награды: кусок хлеба и махорки, чтобы покурить.

Некоторые даже дрались между собой, не поделив добычи, потому что вдвоем ухватились за одну жертву, знакомую по совместной службе, и теперь пинали ногами друг друга, кровавили носы, и каждый тащил к себе напуганного оцепеневшего человека, чтоб самолично поставить его под пулю и ни с кем не разделить жалкой награды.

Когда выстрелы затихли и все, кого отогнали на другой конец плаца, уже не стояли, сгрудившись, а валялись на булыжнике в самых невероятных позах и кое-кто из недобитых дергал руками и ногами в предсмертных конвульсиях, туда ринулись из нашей колонны их вчерашние товарищи и без стеснения деловито стали шарить по карманам убитых, снимать с еще не остывших рук часы и сдергивать с трупов сапоги, чтобы тут же, присев, за неимением скамьи, на грудь мертвеца, переобуться в новую, немного лишь поношенную обувь.

Немцы, стоявшие в сторонке возле остывавшего после стрельбы пулемета, с брезгливостью взирали на эту сцену и тешили себя мыслью, что не зря фюрер назвал этот народ «унтерменшами».

Я, кадровый строевой офицер, стоял, обалдев от стыда и бессилия, и горестно размышлял о том, что в самом жутком сне не мог предполагать, что советские солдаты, наследники революции, которым мы годами прививали нормы человеческого поведения, прожужжали им уши лекциями об интернационализме, классовой солидарности трудящихся и дружбе советских народов, оказались на поверку такими безнравственными скотами.

Было бы упрощением объяснить их поведение заурядным антисемитизмом или ненавистью к коммунистам и своим командирам. Объяви немцы награду за каждого рыжего советского солдата или за каждого низкорослого, и они бы с ними проделали то же самое. Безо всякой злобы. А лишь потому, что голодной утробе за это обещан кусок хлеба.

Потеря чувства собственного достоинства или же полное отсутствие такового толкает человека на подлые поступки независимо от его национальности. Еще до того, как я попал в плен, когда еще надеялся выбраться из окружения и отсыпался днем в стогах сена, а ночами брел на Восток, к своим, я повстречал еще двух окруженцев. Два польских еврея, еле лопотавшие по-русски, были мобилизованы в Советскую Армию где-то Под Белостоком и теперь, когда их воинская часть была разгромлена, металась, как зайцы, по чужой им и враждебной Украине в поисках спасения. С их откровенно выраженными семитскими физиономиями, с их еврейско-польским акцентом нельзя было сунуть носа ни в какую деревню, чтобы найти что-нибудь пожевать. Они

держались подальше от человеческого жилья и кормились сырой свеклой, которую удавалось вырыть в поле, и сухими зернами пшеницы.

Вид у них был жуткий, когда я случайно наткнулся на них, — какие-то зачумленные, жалкие существа. У меня был с собой печеный хлеб, добытый в деревне, и я скормил им полбуханки, а вторую половину оставил на завтра. Когда я укладывал в вещевой мешок остатки хлеба, они следили за моими руками воспаленными глазами, в которых мне чудилось безумие. Я велел им никуда не отлучаться и ждать меня, пока я разведу — местность и установлю наиболее безопасный маршрут. Они безропотно соглашались на все, что я им говорил, и на идише, захлебываясь, благодарили судьбу, пославшую им в спасители еврея без ярко выраженных семитских черт и отлично говорящего по-русски. Только за моей спиной могла для них замаячить хоть какая-то надежда на спасение. Без меня — гибель.

Когда я к вечеру вернулся из разведки по окрестным деревням, то не обнаружил моих евреев под стогом сена, где я их оставил, тщательно замаскировав вход в нору. Не было видно никаких следов борьбы. Они ушли сами, не дождавшись меня. Голод лишил их разума. Желание съесть вдвоем остатки хлеба, не поделившись с третьим, пересилило страх за свою жизнь. И они убежали с моим хлебом.

Через два дня, в одной из деревень, я услышал, что украинские полицаи поймали двух солдат-евреев, которые даже не умели говорить по-русски. Это были они.

Пьяные полицаи не довели их до лагеря военнопленных, а прикончили по дороге, устроив состязание в стрельбе по мечущимся живым мишеням.

Уцелеть еврею на оккупированной немцами Украине было делом непосильным. Немцы методично вылавливали евреев соответственно инструкциям свыше, украинцы же это делали добровольно, с большим рвением, стараясь опередить оккупантов и выслужиться перед ними. Не буду скрывать, я куда больше опасался встречи с украинской полицией, чем с немцами. Немцы не очень-то отличали, кто еврей, а кто — нет, да и относились к этому равнодушно, без интереса. Их больше занимала сама война с Россией. Для украинцев охота на евреев, грабеж их имущества, избиение и убийство безоружных и беспомощных людей стало азартной и страстной игрой, доставлявшей им большое и непостижимое нормальному уму удовлетворение.

Меня выручил восточный тип лица: не семитский, а больше монгольский. Не очень ярко выраженный, смытый. Какой встречается у казанских татар. Их порой не отличить от русских. Чуть-чуть скулы выдаются. И глаза немножко уже. Вот так выглядел я в ту пору. Сейчас с возрастом все больше пробиваются семитские черты. И ты к старости подобное обнаружишь в своем лице. Гены предков сказываются даже и при полной ассимиляции.

Легенда о татарском происхождении оказалась лучшим прикрытием. Благо, мне не пришлось выдумывать достоверные подробности. Последние годы денщиком у меня служил казанский татарин Реза Аблаев, расторопный солдат из старослужащих. Он по-татарски ни слова не знал. Вырос сиротой в русском приюте под Москвой. Лучшей биографии и не придумать для меня.

Реза погиб в последних боях в окружении. Я его сам хоронил и его солдатскую книжку взял с собой. Просто так. На память о верном денщике, с которым прошел бок о бок все начало войны и долгое время до войны.

Попад в плен, я, не задумываясь, объявил себя татаринoм по имени Реза Аблаев. Свои документы я заранее уничтожил, офицерское обмундирование сменил на солдатское, снятое с убитого, а в лицо меня, к счастью, никто в лагере не знал.

Определили меня в татарский барак-лагерная администрация старалась размежевать пленнх по национальному признаку. Бараки недоверчиво косились друг на друга, а это охране только и надо было: легче держать все стадо в повиновении.

Наш лагерь стоял на берегу Черного моря, куда я до войны ездил на курорты. Тогда была зима, и холодный пронизывающий ветер с моря донимал нас, истощенных голодом, и люди умирали как мухи. Первыми умирали те, кто не имел чувства собственного достоинства и быстро терял человеческий облик. Я, к примеру, сидел на том же голодном пайке, что и другие, худел, усыхал, но не позволял себе подобрать что-нибудь с земли и сунуть в рот. А находилось немало таких, кто с помутившимся от голода сознанием ковырялись, как мухи, в кучах гнилых помоев возле кухни и жадно набивали себе брюхо. И, конечно, сразу — дизентерия. Таких, еще живых, охранники складывали штабелями в яму и заливали известью, чтобы предупредить эпидемию. Залитые белой известью трупы напоминали плохо обработанные статуи.

Работать нас гоняли на ремонт дороги и погрузку угля в соседнем порту. На голодное брюхо долго не проработаешь, свалишься по дороге и будешь пристрелен охранником.

Однажды нас выстроили на плацу. Всех, кто еще мог двигаться. Пришел начальник лагеря. Моих лет, худой подтянутый офицер. По имени Курт. Пленные почему-то знали его имя, но не фамилию. Имя короткое, легче запомнить. А жаль. Возможно, он жив сейчас, и, знай я его фамилию, чем черт не шутит, и повидаться удалось бы. Интересный бы у нас разговор получился.

Вышагивает этот Курт перед нашим грязным и рваным строем на своих длинных ногах в сверкающих хромовых сапогах. Здоровенная немецкая овчарка на кожаном поводке лениво трусит рядом. А чуть сзади — хорошенькая пухлая бабенка. Его любовница из Польши по имени Ада. Миниатюрная красотка. Брезгливо морщит вздернутый носик-дух от пленнх идет тяжелый. Она с грехом пополам лопотала по-русски, и Курт иногда пользовался ее услугами и как переводчицы тоже.

Остановился Курт. Остановилась собака. Остановилась Ада. Повернулись лицом к строю.

— Есть интересное предложение, — переводит Ада слова Курта. — Кто из вас сапожник — три шага вперед.

Я обмер. Сапожника освободят от изнурительных общих работ. Он будет сидеть в тепле и загонять гвозди в подметки. И останется жив. Не умрет от истощения.

И тут я вспомнил, что хоть я и кадровый офицер и всю жизнь провел в армии, все же имею право называться сапожником. Потому что в революцию, в голодные годы, совсем еще мальчишкой был отдан матерью в ученье к сапожнику и бегал у него на посылках и полу — чал тычки и зуботычины, пока меня не призвали в армию. Так я сапожником и не стал.

— Кто сапожник — три шага вперед!

Ноги меня сами вынесли из строя. Отсчитал три шага. Замер.

Ты — сапожник? — недоверчиво оглядел меня Курт.

Так точно.

— Не похож, — усомнился он.

Проклятая офицерская выправка и тренированное спортом тело подводили меня, выдавали мое прошлое.

— Кто еще хочет назвать себя сапожником? Гляжу, еще один человек несмело вышел из строя.

Из нашего татарского барака. Одутловатый, будто у него водянка, неприятный тип с дырками от оспы на широком и плоском лице. По имени Ибрагим. Он больше других с подозрением косился на меня в бараке: отчего, мол, я не знаю родной язык? И все похвалялся, что татары — величайший народ на земле и что они — прямые потомки покорителя России Чингисхана.

Ты, сынок, запомни, если человек говорит о себе во множественном числе: мы — русские, или мы — татары, или мы — немцы, так и знай — дрянной это человечешко, пустой и никчемный. Свое ничтожество прикрывает достоинствами всей нации. Человек стоящий всегда говорит: я — такой-то и называет себя по имени, а не по национальности. А раз говорит — мы, значит, за спину нации прячется. Подальше держись от такого.

Таким вот и был Ибрагим, мой сосед по татарскому бараку, тоже объявивший себя сапожником.

Больше никто из строя не вышел.

Курт не был лишен проницательности. Он не усомнился, что мы оба липовые сапожники и хотим отвертеться от общих работ. Немцы — народ трудолюбивый, надо отдать им должное, и лентяев и придурков терпеть не могут. Как и воров.

— Я не сомневаюсь, — сказал Курт, и Ада перевела его слова с польским акцентом, — что эти два сапожника никогда не держали сапожный молоток в руках, а сделали три шага вперед с одной целью — обмануть меня и освободиться от тяжелой работы. Только русские свиньи способны на это. Но я вас проучу так, чтоб другим неповадно было.

Он назвал татарина Ибрагима и меня, еврея, выдавшего себя за татарина, русскими свиньями потому, что откровенно презирал нас всех и не делал никаких различий. Одно стадо. На одно лицо.

Ибрагим и я стояли в трех шагах впереди строя грязных и тощих военнопленных, людей, обреченных на медленную смерть от недоедания и непосильной работы. Но их смерть таилась в неблизкой перспективе. Когда организм окончательно не выдержит и сдастся. Наша с Ибрагимом смерть маячила перед самым носом. Курт без особого труда обнаружит обман, что никакие мы не сапожники, и тогда две пули (немцы — народ аккуратный и экономный и дефицитный свинец зря переводить не станут) уложат нас двумя кучками грязного тряпья на краю плаца перед равнодушным от оупения строем военнопленных.

Это понимали мы с Ибрагимом. Это было написано на худых лицах наших товарищей, стоявших в относительной безопасности в трех шагах позади нас.

— Вот так, — сказал Курт, по-журавлиному вышагивая перед нами в высоких хромовых сапогах, начищенных до нестерпимого блеска. Сапоги были хорошей работы. Не фабричные. А сшиты по заказу. Мягкие голенища, как перчатки, облегли его кривоватые ноги, казавшиеся особенно тонкими из-за нависавших над ними широких крыльев суконных брюк-галифе.

— Не раздумали? — с насмешкой в глазах остановился перед нами Курт, игриво постукивая тростью по голенищу сапога. — Лучше сейчас сознаться во лжи, и вы понесете наказание без лишних хлопот... Двадцать палок... От этого не всегда умирают. А то ведь подохнете позорной и мучительной смертью. Ну, раздумали?

Я выдержал его насмешливый взгляд и мотнул головой. Мол, не отрекаюсь от того, что сказал.

Как повел себя Ибрагим, к которому подошел после меня Курт, не знаю. Не глядел в ту сторону. Не до того было. Ибрагим, видать, тоже не отступился, потому что Курт спиной вперед отошел от нас, чтобы лучше разглядеть обоих, и объявил:

— Слушайте все! Этим двух сапожников я помещу отдельно от всех, в караульную будку, пусть подтвердят свою квалификацию. Я дам им задание сшить туфли... Модельные туфли для нее, — он ткнул тростью в сторону Ады, и мои глаза невольно скользнули к ее стройным ножкам, обутом в открытые туфли-лодочки на высоких тонких каблуках. И то, что мой взгляд засек машинально, заставило мое сердце замереть от безысходной тоски. У Ады была крохотная ножка. 35 размера, не больше. И высокий, высоченный подъем. Западня. Волчья яма. Гибель для сапожника. Сделать что-нибудь приличное на такую ногу даже в нормальных условиях под силу лишь хорошему мастеру. И даже у него мало шансов на успех. Я помнил, как мой хозяин, который славился золотыми руками, при виде такой каверзной ножки кривился, как от зубной боли, и чаще всего не брал заказа, а если брал, то за очень высокую плату. Потому что даже он не мог заранее предсказать, что получится в результате.

Если вы действительно сапожники, а не жалкие трусливые лгуны, — продолжал Курт, а Ада дословно переводила с мягким польским акцентом, — то вы управитесь за неделю. Потому что вас двое. А был бы один, я бы продлил срок еще на одну неделю. Ни инструментом, ни материалом я вас обеспечивать не собираюсь. Это — ваша забота. Через неделю новые туфли должны украсить ее ножки. Опоздание хоть на один час — расстрел. Отсчет времени начинается вот с этой самой минуты.

Курт сдвинул рукав кителя с запястья и посмотрел на часы.

Итак, начинаем. Через неделю будет ясно, кто вы: люди или свиньи.

И он поднял глаза на строй военнопленных. Курт бросал вызов всему лагерю. Люди мы или свиньи? Кем нас считать? Я почему-то перестал думать о неминуемо нависшей смерти. В моей голове носились мысли более высокого порядка.

От меня, от того, как я вывернусь из абсолютно безнадежного положения, зависела честь всей этой обезличенной серой толпы. Честь армии и страны, к которой мы совсем недавно принадлежали. Моя победа могла поддержать дух этих уже почти сдавшихся людей и тем самым продлить их существование. Мое поражение неминуемо ускорит и их конец.

Хоть я стоял в рваном солдатском обмундировании, в душе, еще не окончательно сломленной, оставался офицером, командиром и, как это ни покажется смешным,

испытывал чувство ответственности за судьбу других, словно они оставались моими подчиненными. Я готовился постоять за честь тех солдат, от которых я скрывал, что я — коммунист, что я-старший офицер и, наконец, что я — еврей. Обнаружь я хоть один из трех этих грехов, и они сдали бы меня в лапы гестапо: на расстрел ради пачки махорки или ломтика хлеба, почитавшегося в лагере эквивалентом тридцати сребреников.

Я оглянулся на линию серых, небритых безжизненных лиц и увидел, как навстречу мне загорались сочувствием и надеждой глаза. Они вместе со мной приняли вызов. Но я ставил на карту голову. Они — честь. О которой не все имели достаточно понятия.

— Снимайте мерку, — распорядился Курт.

Ибрагим не шелохнулся. Я двинулся непослушными ногами к Аде. Она кокетливо вздернула выше колена юбку, сбросила туфлю и протянула ногу мне. Я опустился на колени и поставил ладонь под ее теплую пятку.

Да. Убийственный тридцать пятый размер. И необыкновенно высокий подъем. Гибель. Но в запасе неделя. Что бы ни случилось, а мерку надо снять. Чем? У меня в карманах даже шнурка не оказалось. И тут из строя пленных кто-то бросил мне комок шпагата. Я даже не оглянулся. Приложил к ноге Ады. Измерил длину стопы и завязал узелок. Затем объем. Еще узелок. И так далее. Быстро. Не раздумывая. Сосредоточившись на одном: запомнить порядок узелков на шпагате.

Курт наблюдал за мной с интересом и нервно постукивал тросточкой по голенищу сапога. Он тоже, как и весь лагерь, включился в эту игру. Азартную игру. Где призом была моя голова.

Конвойные отвели меня с Ибрагимом в караульную будку. Голые стены. Два табурета. И шаткий дощатый пол. Как камера для смертников, ожидающих исполнения приговора.

Как только мы остались вдвоем, рыхлый, как тесто, Ибрагим безвольно опустился на пол и по его плоскому, иссеченному оспой лицу потекли мутные слезы.

— Мы — погибли, — захлюпал он носом. — Я — не сапожник.

И тут я не смог себя сдержать, наотмашь хлестнул его по морде.

Чего же ты, гад, полез? Из-за тебя мне лишь одну неделю срока дали. А так бы я две недели работал.

Ты действительно сапожник? — поднял он на меня свои узкие щелки глаз, и в них засветился почтительный восторг, словно он увидел живого волшебника.

Я не ответил. Я сдерживался, чтоб еще раз не сорвать злость на этом обезумевшем от страха мешке, набитом студнем, и костями.

— Не выдавай меня, — взмолился Ибрагим, — я тебе служить буду... Что прикажешь. Ну, хотя бы чесать спину...

Молчать! — сорвался я на уже позабытый офицерский окрик. — Слушай мою команду! Хочешь прожить эту неделю — молчи, ни звука! И все, что я прикажу — исполняй, не медля. Ясно?

— Ясно, ясно... Только прикажи...

— Вот тебе первый приказ. Пропаши носом весь лагерь, но найди какой-нибудь режущий инструмент. Ножей в лагере нет. Разыщи кусок стали и на камне отточи, чтоб было лезвие как у бритвы.

Ибрагим, сопя, приволок в будку кусок ржавого железа и камень. Сел на пол и начал тереть железо об камень. Как первобытный человек, трением высекавший огонь. Я же подобрал на свалке парочку сухих кусков дерева. Из них предстояло вырезать колодки. Без колодок туфли не шить. Но для начала нужен был нож.

Ибрагим пыхтел, сопел. Каждые полчаса я сменял его. Всю ночь мы продолжали работу при свете луны. К утру край стали сверкал узким и острым лезвием, и первый луч солнца отразился от него и на миг ослепил меня.

Это был первый шаг к спасению.

Я поспал часок-другой и приступил к изготовлению колодок. Колодки делает специалист. Это вроде художественной резьбы по дереву. Нужно сделать модель человеческой ноги. Да еще такой миниатюрной, как у Ады. И с таким проклятым высоким подъемом.

Никогда в жизни я ни резьбой по дереву, ни изготовлением колодок не занимался. Мой хозяин — сапожник, которому когда-то я был отдан в учение, тоже колодки сам не вырезал, а покупал их готовыми. Так что я даже и представления не имел, как это делают. И тем не менее приступил к делу. Спокойно, уверенно. Будто всю жизнь только этим делом и занимался.

Зажал кусок дерева между колен и осторожно снял лезвием желтую стружку. Потом снял вторую. Стружка завивалась колечком и ложилась у моих ног. Ибрагим сидел на корточках против меня и с восторгом и преданностью в глазах следил за каждым движением лезвия. Как собака у ног работающего хозяина. Только не повизгивал для полного сходства. Правда, разок заскулил и даже облизнулся, когда увидел проступающие в дереве очертания человеческой стопы.

К вечеру в лагерь возвращались колонны с общих работ. Измученные до предела пленные, еле волоча ноги, проходили в ворота за колючую проволоку и не рассыпались по баракам, как делали прежде, а столпились у открытых дверей сторожевой будки, в глубине которой сидел я, окруженный, как пеной, желтыми стружками. Левая колодка была готова. Желтая, как слоновая кость, миниатюрная женская ножка. Ибрагим вышел с ней к пленным, бережно держа ее в обеих ладонях, и высоко поднял над головой, чтоб побольше людей могли увидеть. Толпа одобрительно загудела, и Ибрагим тут же унес сокровище в будку.

С наступлением темноты я спать не лег. Слишком велико было возбуждение. Не знаю, что испытывает скульптор, кончив высекать из мрамора фигуру. Я был как пьяный.

Кто-то принес немецкую парафиновую плоскую-свечку. Среди пленных свеча считалась редкой драгоценностью. Ее меняли на хлеб и махорку. Нам свечу принесли безвозмездно. При ее колеблющемся свете я стал строгать вторую колодку.

Что я могу сказать по этому поводу? Говорят, что битьем можно медведя выучить танцевать, а собаку считать до десяти. Так, мол, делают цирковые дрессировщики. Мои руки совершили чудо. Никогда прежде этим не занимаясь, я выстругал две колодки, две модели человеческих ног, левую и правую. И такой красоты, такого

совершенства, что встань из могилы мой хозяин, обучавший меня сапожному ремеслу, он повертел бы их в руках, прищелкнул языком и сказал бы:

— Хоть в Брюссель на выставку посылай.

Так говорил он всякий раз, когда что-нибудь вызывало его восторг. В Брюсселе, как я полагаю, в те времена устраивалось нечто вроде международной выставки обуви.

— Высший класс! — сказал бы мой хозяин. Меня он никогда такой похвалы не удостоивал. Потому что, пребывая в учениках, я не успел сшить ни одной пары обуви. А уж изготовление колодок совсем не моим делом было.

Можно считать, что моей рукой водил страх перед наказанием. А наказание — смерть. Но я полагаю, что не только это вызвало у меня взрыв творческого вдохновения. Нечто большее, чем страх перед обещанной пулей. Курт, дав мне непосильную задачу, не сомневался в результате, и для него это был еще один повод торжествовать над нами, беззащитной серой толпой, которую он откровенно презирал, считая низшей расой. А мне очень хотелось ему попортить торжество. Для меня это была единственная возможность почувствовать себя человеком — царем природы и восторжествовать над моим врагом.

И весь наш лагерь загорелся тем же чувством. Даже в изоляторе, где доходили дистрофики, когда туда втискивали очередной полутруп, его тормозили и спрашивали, как обстоит дело с туфлями для Ады. Всякий, кого не угнали на общие работы, подходил ко мне и приносил украдкой кусок хрома от старого голенища или уцелевшую подметку. Из ваты, надерганной из солдатских телогреек, мы сучили пальцами суровые нитки. Из полена нарезали деревянных гвоздиков. Из железного гвоздя отточили на камне шило. Из тонкой проволоки сделали иглу.

Из старых подметок и голенищ я скроил заготовку и вырезал подошвы. Выстругал из дерева высокие и тонкие каблучки.

Буквально из ничего, голыми руками я не сшил, а сотворил пару женских туфель, удивительной модели, прежде никем не виданной, ибо родилась она в моем воспламененном мозгу.

Первым свидетелем этого чуда был мой напарник Ибрагим. Он не верил, что мне удастся выпутаться из беды и соорудить из хлама хотя бы что-нибудь похожее на обувь. Поэтому, хоть и помогал мне, пыхтя и постанывая, больной и отекший от голода: часами мял кожу, сучил пальцами нитки из ваты, оттачивал на камне гвоздь, но глядел перед собой безучастным и безнадежным взглядом, примирившись с мыслью о неизбежной гибели. А когда не работал, сидел с закрытыми глазами на полу, скрестив ноги, как азиатский божок, и, раскачиваясь, гнусавил с подвывом то ли песню, то ли молитву. Теперь он совсем мало походил на потомка отважного и свирепого завоевателя Чингисхана. До того, как его угораздило назваться сапожником, он хвастливо кичился этим именем перед другими пленными, нетатарами. Нынче он больше напоминал старого издыхающего ишака.

У нас оставались в резерве почти сутки до окончания недельного срока, установленного комендантом. Я работал как одержимый, почти в беспамятстве, лишь изредка сваливаясь на пол, чтобы поспать часок-другой, и, надо полагать, со стороны Ибрагиму я казался свихнувшимся от страха.

В эту ночь Ибрагим тревожно спал в углу, всхлипывая во сне, а я, согнувшись в три

погибели, при слабом мигающем огоньке свечи корпел над окончательной отделкой туфель, мял и натирал их, наводя на хромовые бока и носки глянец и блеск.

Уже розовело небо, когда я поставил обе туфли на пол, бортик к бортику, каблук к каблучку, острыми, переливающимися тусклым блеском носками прямо к плоскому носу Ибрагима, поскуливающего по-щенячьи во сне. И тут же сам уснул, провалился в беспмятство, в мертвый сон, без тревог, без бреда и без радости. Пустой, выпотрошенный, бесчувственный и ко всему равнодушный.

Проснулся я вскоре. Меня разбудил истошный визг и рычание. Я разлепил опухшие веки и при ясном свете — солнце уже встало

— увидел ошалевшего Ибрагима, уставившегося на дамские туфельки и позвериному, опираясь на колени и руки, чуть не лаем выражавшего обурявший его восторг.

Должно быть, и Ибрагим в своей жизни таких туфель не видал. Он понял, что спасен, что останется жив, и вопил и визжал от счастья. Затем вскочил на ноги, легко, как будто не просидел рядом со мной всю неделю отечным безжизненным мешком, и, схватив в каждую руку по одной туфле, стал размахивать ими над головой, приплясывая и исходя гортанным криком, напоминающим клекот степной птицы. И выбежал из сторожевой будки. Вопя и держа за каблуки высоко над головой женские модельные туфли.

Время было как раз перед отправкой колонн на работы, и на плацу выстраивались серые шеренги голодных и невыспавшихся пленных. Конвоиры с собаками пересчитывали их. Как всегда, при этом присутствовал комендант Курт. И его переводчица и любовница полька Ада.

Сначала конвоиры чуть было не спустили на Ибрагима сторожевых собак, когда он, приплясывая и вопя, появился на плацу. Но увидели, чем он помахивал в высоко поднятых руках, и придержали рвущихся с поводков собак.

Шеренги полумертвых людей вдруг ожили, зашевелились, засветились улыбками. Ибрагим бежал перед ними, пританцовывая, и в его руках посверкивали на солнце, словно сделанные из хрусталя, волшебные туфельки. Переливались и поблескивали, как алмазы, над пыльным, утопанным тысячами ног плацем, над грязным рваным тряпьем, в которое кутались худые, как скелеты, люди.

Курт принял туфли из дрожащих и потных рук Ибрагима. Не сказал ни слова, а только кивнул солдату, и тот грубо стал подталкивать растерянного татарина к строю уже готовых к выходу на тяжелые работы пленных. Другой солдат трусцой побежал в сторожевую будку, пинком поднял меня с пола, где я все еще лежал, и повел на плац.

Ада уже примерила мои туфли. Ее старые туфли французского или немецкого производства, одним словом, заграничные, валялись в пыли, а мои плотно и удобно сидели на ее маленьких крепких ножках. Я это определил по удовлетворенной улыбке, которая выдавила ямочки на ее сытых румяных щечках. Завидев меня, она бросилась навстречу и на глазах у Курта, у конвоиров с собаками и у серой голодной толпы поцеловала меня в губы, ладонями обхватив мой затылок.

«Вот сейчас Курт меня и пристрелит. Из ревности», — еще успел подумать я, видя шагающего ко мне на длинных худых ногах коменданта. Правая рука его в кожаной перчатке покоилась на черной кобуре с пистолетом. Но он не расстегнул кобуру, а той

же рукой, не снимая перчатки, пожал мою руку и бесстрастным ровным голосом сказал, а Ада скороговоркой перевела, громко и радостно, чтобы слышали все на плацу:

— Я был неправ... назвав вас свиньей (он сказал мне «вы», а не «ты»)... Я сожалею.

И еще раз тряхнул мою руку. А потом приложил эту же руку в черной перчатке к своей фуражке, на черном околышке которой белел алюминиевый череп с костями — эмблема СС, отдавая мне, пленному, честь.

Эх, надо было видеть, что произошло в толпе пленных, неровными шеренгами вытянувшихся на плацу. Слабые, изможденные, до того ко всему безучастные люди зашумели, загорланили, захлопали грязными худыми руками. Глаза у людей засветились гордостью и удовлетворением. Весь лагерь разделил со мной мою победу.

Колонны ушли на работу. Я весь день проспал в пустом татарском бараке, и дневальные, подметавшие земляные полы между рядами двухэтажных деревянных нар, приближаясь ко мне, почтительно умолкали, чтобы не потревожить мой сон.

Поздним вечером пленные вернулись в лагерь и еле живые от усталости расползлись по баракам. Я уже встал, и каждый татарин, входя в барак с тощим ужином в солдатском котелке, счел своим неперемным долгом подойти ко мне и потрепать по плечу или пожать руку. Один лишь Ибрагим не подошел. Нахохлившись и ни на кого не глядя, он сидел в своем углу на нижних нарах и хлебал из котелка пустую лагерную баланду. Он был обижен до глубины души. Все лавры достались мне, а его угнали на общие работы, словно он был совсем ни при чем.

Получилось так, хоть я никому не заикнулся о беспомощности Ибрагима, но и немцы и пленные без лишних слов поняли все и, не колеблясь, отстранили его от меня, лишили его радости победы. Татары в бараке подтрунивали над Ибрагимом, а он закипал злобой и лениво огрызался.

Потом, в воскресенье, за мной пришел конвоир и повел меня мимо бараков: татарских, русских, украинских, грузинских — только еврейского барака не было — среди всех пленных я был единственным евреем, и знал об этом лишь я один, а знай еще кто-нибудь ~ и лагерь был бы действительно «юден фрай», свободным от евреев. Немец вывел меня за проволоку, на ту сторону дороги, где в каменных, беленных известью домиках под черепичными крышами жила охрана.

Мы пришли к дому коменданта. Из открытых окон слышалось множество голосов, мужских и женских, пронзительно верещал патефон.

Курт встретил меня в дверях распаренный, в расстегнутом кителе, обняв, как своего, и повел к столу, за которым сидели немецкие офицеры в летной форме. Недалеко от нашего лагеря на берегу моря в бывшем санатории отдыхали выздоравливавшие после госпиталя раненые летчики. Курт устроил для них вечеринку, а чтобы мужчинам не было скучно, велел Аде позвать из соседнего поселка русских девок и женщин. Теперь они сидели вперемежку с летчиками, покрасневшие от вина, смущенно хихикали и нестройно подпевали по-русски патефону. Немцы щупали их, тискали и откровенно спаивали, все время подливая им из бутылок с разноцветными наклейками. У меня свело челюсти, — когда я увидел, сколько вкусной еды, давно позабытой мною, громоздилось в тарелках на столе, а от

запахов пошла кругом голова. Почувствовал слабость в ногах, вот-вот рухну в голодном обмороке.

Ада, уже изрядно подвыпившая, завидев меня, вдруг вскочила на стул, на ее ногах я увидел мои туфли, а со стула полезла на стол, чуть не рухнула, но ее под— держали, вскочив со своих мест, летчики, и, утвердившись на ногах, стала танцевать на столе, передвигая ноги в моих поблескивающих туфельках, среди бутылок, рюмок и тарелок с едой. Она, видно, имела немалый опыт в таких танцах на столе, потому что не разбила ни одной рюмки. Иногда она высоко задирала ногу и потряхивала ею в воздухе над головами летчиков и пьяных баб, демонстрируя всем мою работу. Она поступала именно так, потому что, покрикивая по-немецки и по-русски, пальцем тыкала в меня:

— Это он... такой мастер!.. Его работа!.. Ни за какие деньги такие туфли не купить!

Летчики, чтобы удостовериться в качестве моей работы, с хохотом хватали ее за ноги, и чаще не там, где были туфли, а повыше, под юбкой, и громко и дружно одобряли:

— Экстра-класс! Вундербар! Отлично!

Курт унял шум за столом, подняв свой бокал, и сказал тост, держа левую руку на моем плече, из которого я, мучимый голодными спазмами в желудке, уловил, что я — не русская свинья, а настоящий мастер! Талант. И что я действительный потомок древнего монгольского завоевателя Чингисхана и не опозорил свою расу. Что немцы уважают талант и, хотя я пленный враг, он не питает ко мне вражды, а, наоборот, преклоняется, потому что талант заслуживает поклонения. Курт был пьян и многословен.

Мне поднесли выпить. К столу, естественно, не позвали, а оставили стоять рядом. Я пригубил рюмку, и первый же глоток спиртного обжег мои иссохшие от голода внутренности. Пить я не стал, знаками показав, что у меня с животом не все в порядке. Тогда Курт и гости стали хватать со стола все, что попадалось под руку: куски колбасы, жареного мяса, пирожки, груши, виноград, и совать мне. Я двумя руками завернул край моей гимнастерки, и они свалили туда, как в корзину, всю снедь, сколько вместилось. Солдат отвел меня в лагерь, и весь татарский барак всполошился, завидев, какое богатство я принес. Пленные, худущие, в грязном белье, сползали с нар и, поводя голодными носами в воздухе, с заблестевшими глазами окружили меня, как сказочного Деда Мороза, заглянувшего по ошибке в ад.

Посреди барака стоял дощатый стол, и, сопровождаемый тяжело сопящей толпой, я подошел к столу и отпустил край гимнастерки. Куски мяса, колбасы, рыбы, гроздья винограда, слипшиеся пирожки высыпались на темные доски стола, и тотчас же над ними, заслонив все от меня, выросла крыша из сплетенных скрюченных рук, — жадно хватавших все, что попадалось.

Стол опустел. На нем даже крошки не осталось, а счастливики юркнули на нары, подальше от голодных глаз соседей, и там, давясь, зачавкали, заскрипели челюстями. Мне так и не удалось отведать ничего из того, что принес. Кажется, и Ибрагиму не досталось, потому что он не вылез из своего угла, когда я пришел. Он обходил меня, старался не замечать, как лютого врага. А ведь я спас ему жизнь. Но этого оказалось

мало. Человеческая слабость. Жив остался, а сейчас подавай ему славы, подели с ним успех. Хотя, если честно взглянуть на вещи, он к нему имел самое отдаленное отношение-Ревность и злоба — нехорошие чувства. Опасные. От них один шаг до подлости. Ибрагим оказался способным на подлость. Он донес на меня. И не немцам. А нашему, русскому, из тех, что переметнулись к врагу, пошли к ним на службу и выслуживались изо всех сил. Их мы опасались куда больше, чем немцев.

Ибрагим сообщил, что никакой я не татарин, что я — еврей. Что он ночью слышал, как я во сне разговаривал по-еврейски. Ибрагим спал на другом конце барака и ничего не мог слышать, если б мне даже взбрело на ум заговорить во сне на языке моей мамы, который я едва помнил. Потому что по-еврейски в нашем доме заговаривали лишь тогда, когда хотели, чтобы мы, дети, не понимали, о чем взрослые толкуют.

Но случился феномен. Я действительно бормотал на языке, которого не знал, но лишь слышал. Должно быть, от нервного напряжения, в котором пребывал дни и ночи в лагере военнопленных, где я был последним и единственным уцелевшим евреем. И что-то сдвинулось в моей психике, и язык матери, запечатлевшийся, как на патефонной пластинке, в глубинах моего мозга, вдруг ожил и сорвался с моих губ.

Соседом по нарам был у меня черноморский моряк, попавший в плен в Севастополе. Тоже татарин. Но москвич, из интеллигентов, едва понимавший свой родной язык, как и я свой. Однажды ночью он меня растолкал и зашептал в самое ухо:

Ты — еврей. Во сне бормочешь по-еврейски. Я-то знаю... всю жизнь с евреями жил по соседству.

Я, конечно, стал отпираться и тоже шепотом, чтобы другие не услышали, и попробовал втолковать ему, что все это ему приснилось, что это — бред!

Моряк только грустно усмехнулся.

— Ладно. Пусть будет так. Но в другой раз забормочешь, я тебя снова разбужу. Я ведь не донесу... а другие... могут.

И будил меня несколько раз. Не говоря ни слова. А я тоже молчал. Только смотрели понимающе друг на друга, пока сон снова не одолевал нас.

Донес на меня Ибрагим, который физически не мог расслышать, на каком языке я объясняюсь в сонном бреде, потому что его нары были расположены слишком далеко от моих. Мой же сосед шепнуть ему об этом тоже не мог. Бессмысленно. Если уж он решил заложить меня, то зачем это делать через Ибрагима? За выдачу еврея полагалось хорошее вознаграждение, и, уж став иудой совсем, неразумно уступать другому тридцать сребреников.

По доносу Ибрагима меня вызвали в комендатуру. Там уже околачивался Ибрагим и, как только меня привели, повторил офицеру охраны, из русских предателей, что я — еврей и он это опознал по моему бормотанию во сне.

— Попался? — с усмешкой посмотрел на меня офицер, русопятый тип с волжским окающим акцентом, по всему видно, в нашей армии был младшим лейтенантом, «Ванькой-взводным», не более того, и перед таким, как я, стоял навтыжку, а сейчас наслаждался выпавшей ему властью.

— Да я и по морде вижу, кто ты есть! Не пойму, как раньше тебя не разоблачили? Надо же! Целый год среди нас... русских, ходил еврей...

Отпираться было не к чему, спорить с этим типом, у которого руки чесались загнать мне пулю между глаз, было бессмысленно.

— Вот сегодня повеселимся... Публично расстреляем... Когда вернутся с работы. На плацу... Пусть народ полюбуется на последнего живого еврея.

И, видно, для того, чтобы убедиться, что я живой, а не привидение, вытащил револьвер, ухватившись за дуло, и наотмашь ударил меня рукояткой возле уха, в висок.

У меня загудело в голове, словно оглушили. Но не упал, устоял на ногах. Упав я, у моего истязателя не хватило был тормозов сдержаться, сохранить меня для публичной расправы, и он, озверев при виде крови, разрядил бы в меня, лежащего, всю обойму.

И не только потому я остался жив. Моим спасителем оказался... комендант Курт. Он вошел, когда я стоял, прислонившись от слабости к стене, и рукавом гимнастерки размазывал кровь по щеке.

— Он — еврей? — Белесые брови Курта полезли вверх, когда русский офицер, захлебываясь от служебного рвения, доложил ему, как я был разоблачен.

Ты — еврей? — подошел ко мне вплотную Курт и оценивающе стал рассматривать мое лицо, выискивая в нем хоть какой-нибудь семитский признак.

Я вытянул руки по швам, прищелкнул стоптанными каблуками ботинок, потому что знал, немцы не любят расхлябанных опустившихся людей, а выправка и подтянутость вызывают у них симпатию, и отрицательно мотнул головой.

Мы долго, до умопомрачения долго, смотрели друг другу в глаза.

Курт достал из кармана носовой платок и протянул мне. С радостно запрыгавшим сердцем я прижал его носовой платок к кровоточащей ране на виске.

— Какой же он еврей? — обернулся Курт к офицеру, а потом перевел взгляд на растерянно шлепающего губами Ибрагима. — Ты оклеветал своего товарища, чтобы обманом получить награду... Свинья... без чести и совести. А еще потомок Чингисхана... Опозорил свою расу. Он, — Курт ткнул пальцем в мою грудь, — действительно потомок Чингисхана!

Курт приказал, чтобы русский офицер, ударивший меня, принес свои извинения тут же, при нем.

Русопятая рожа поползла в вымученную улыбку, и, окая по-волжски, этот гад прошипел:

— Ну, бывает. Прости, дорогой товарищ...

Ты мне не товарищ, — сорвалось у меня с языка, хотя вступить с ним в пререкания не имело никакого смысла.

Курт ничего не понял и отдал второй приказ: Ибрагиму всыпать двадцать палок. Публично. И первый удар предоставляется мне.

Ибрагиму крошили кости палкой на том же плацу, где должны были расстрелять меня и по которому совсем недавно он бегал, ошалело пританцовывая, с дамскими туфельками в высоко поднятых руках. Эти туфельки, изготовленные моими руками,

спасли ему жизнь, а сейчас из-за меня его на том же месте лишали жизни.

Двадцать ударов палкой по спинному хребту и здоровому человеку не вынести, а уж лагерному доходяге сколько нужно?

Рыхлая, в складках, обнаженная спина Ибрагима желтела перед моими глазами. Я держал в правой руке толстую сухую палку достаточной тяжести, чтобы одним ударом переломить хребет. Но не ударил. Отдал палку лагерному палачу и отошел.

С сухим треском врезалась палка в человечесье тело, и этот треск был треском костей. Ибрагим взвыл по-собачьи. После третьего удара он умолк. А после пятого из его горла потекла жирной густой струей черная кровь.

Я отвернулся и зажмурил глаза. И близко, у самого уха, услышал тихий голос Курта:

— А ты чувствительный... совсем как еврей.

БЕРЛИНСКИЕ ОКНА

Дом был большой, на пять этажей. И даже больше. Потому что из черепичной крыши тоже поблескивали окна. Там жили люди. Правда, победней, чем внизу. И поэтому крышу вполне можно было считать этажом. Шестым. А если учесть, что и подвал был обитаем, и туда под землю вели кирпичные ступени, а если лечь плашмя и заглянуть под решетки и там увидеть окна, а за окнами тоже людей, то выходило, что дом семиэтажный.

Тянулся дом бесконечно — от угла улицы до угла, поворачивал направо до следующего угла, потом еще раз направо и еще раз. Получался квадрат, огражденный серыми кирпичными стенами, и этот квадрат был двором. Без единого дерева и травинки, залитый серым в трещинах асфальтом и очень похожий на тюремный двор в известной берлинской тюрьме Моабит, до которой отсюда было всего три остановки трамваем.

Сходство с тюремным двором придавали кресты на окнах. На всех окнах, на всех этажах. Как тюремные решетки. Белые кресты из бумажных полосок, наклеенные на каждое стекло, под строгим присмотром фрау Шульце — уполномоченной по гражданской обороне. Бумажные кресты, если верить фрау Шульце, предохраняли стекла от ударов воздушной волны, если поблизости взорвется бомба. И, в подтверждение ее слов, во всем доме были целы все стекла во всех окнах, хотя Берлин бомбили каждую ночь, и отбой воздушной тревоги звучал, только когда наступал рассвет, который немного смягчал багровое зарево пожаров.

Видимо, не только бумажные кресты спасали окна этого дома, но и кое-что другое. Дело в том, что здесь не было поблизости заводов и других важных объектов, а лишь жилые кварталы, населенные измученным от бессонных ночей людом, и поэтому Бог миловал пока этот район, и ни одна бомба еще не упала сюда.

Фрау Шульце носила мужской пиджак, а на его лацкане — круглый значок члена нацистской партии с черной свастикой. Ее муж, герр Шульце, до войны состоявший в должности дворника при этом доме, сложил свою рыжую голову в снегах далекой России в боях за свой фатерланд и обожаемого фюрера. Фрау Шульце, как и подобает

истинной германской женщине, сменила покойного супруга на его посту и даже получила повышение, став уполномоченной по гражданской обороне и получив таким образом немалую власть над всеми обитателями дома.

Ее боялись все, старались пробегать мимо, не встречаясь взглядом, потому что казалось, будто выцветшие водянистые глаза фрау Шульце могли читать мысли, не высказанные вслух. А тогда и недолго загреметь в ближайшее отделение гестапо, где фрау Шульце считалась своим человеком и захаживала запросто, как к себе домой.

По ночам, после сирены воздушной тревоги, когда со всех этажей, толкаясь, бежали вниз люди, волоча хнычущих детей и чемоданы с самыми необходимыми вещами, и исчезали в пасти ближайшей станции метро, где глубоко под землей и даже на рельсах отсиживались до отбоя, дом пустел и одна лишь фрау Шульце, как часовой, стуча железными подковами на подошвах мужских ботинок, медленно обходила двор, проверяя, не заметно ли хоть единой полоски света из-за плотно зашторенных окон, на которых особенно четко белели бумажные кресты. Потом она совершала такой же обход снаружи, по пустынным улицам, и, убедившись, что на вверенном ей участке соблюдается установленный порядок и ни одна продажная душа не посылает вражеским летчикам световые сигналы, она спешила к зенитной батарее, стрелявшей по невидимым самолетам с соседней площади, и там без усталости таскала снаряды помогая незрелым юнцам-артиллеристам громить в берлинском небе проклятых евреев. Евреями она считала всех, кто был против Германии и фюрера. И англичан, и американцев, и русских. И немцев, не проявлявших должного рвения на службе родному фатерланду. Весь мир, по ее глубокому убеждению, был евреями, и маленькая Германия, истекая кровью, отбивалась от этой напасти.

Но еще одно живое существо появлялось в гулком пустом дворе, окруженном темными окнами с бумажными крестами. Мальчик по имени Гейнц. Когда все жильцы убегали в метро, а фрау Шульце, завершив свой обход, отправлялась на зенитную батарею, Гейнц выбегал на серый асфальт, озирался по сторонам, мельком взглядывал в небо, где металась лучи прожекторов среди серых комочков ваты — взрывов зенитных снарядов, аккуратно ставил перед собой желтый футбольный мяч с пятью кольцами Берлинской олимпиады на коже и легонько толкал его ногой. Мяч катился по асфальту, подскакивал на трещинах, мальчик бежал за ним, снова толкал ногой, и начиналась игра. В пустом дворе, похожем на тюремный, куда, как в колодец, со всех четырех сторон смотрели ряды черных окон с белыми бумажными крестами на стеклах.

Весь день мальчик отсиживался в тесной квартире прачки Гертруды и мог смотреть на мир лишь через залепленное крестами окно. И то — с большой опаской. Стараясь не привлечь к себе любопытных взглядов.

Потому что мальчик был евреем, и об этом знали только он, прачка Гертруда и... фрау Шульце. Фрау Шульце догадывалась, кто такой этот темноволосый мальчик с большими черными, как ягоды черной смородины, глазами. Прачка Гертруда уверяла ее, что Гейнц-сын ее племянницы, а племянница погибла при бомбежке в Эссене, вот Гертруда и привезла сироту к себе. Хотя, видит Бог, здесь бомбят не реже, чем в Руре и неизвестно, где человека поджидает его судьба. А что у мальчика темные волосы, а не светлые, как подобает иметь арийскому ребенку, то у него отец был не немец, и Гертруда не собирается это скрывать, а итальянец. А итальянцы, как известно, такие же христиане, как и мы с вами, фрау Шульце, и к тому же наши союзники в борьбе с

общим врагом.

Фрау Шульце делала вид, что верит Гертруде, но строго-настрого приказала не пускать мальчика во двор и лучше держать его подальше от людей. Потому что не у всех жильцов дома такое доброе сердце, как у фрау Шульце.

Сердце фрау Шульце подобрело не случайно: с тех пор как Гертруда привела к себе черноволосого мальчика, она стала стирать белье фрау Шульце бесплатно.

Мальчик был евреем, и жил он в Берлине, который считался полностью очищенным от евреев. Года за полтора до этого всем евреям без исключения велели явиться на сборные пункты со своими пожитками, и оттуда их повезли в товарных поездах на Восток, в Польшу, где им обещали работу и пищу. Их увезли, и больше никто о них не слышал.

Гейнц не уехал с папой и мамой и маленькой сестренкой, потому что заболел как раз в эти суматошные дни, когда во всех еврейских домах стояли стоны и плач, и мама буквально сходила с ума при мысли, что повезет мальчика в холодном вагоне с такой высокой температурой — у него, не дай Бог, начнутся осложнения, а легкие у ребенка и так слабые, так что даже страшно подумать, к чему это может привести.

Прачка Гертруда, которая каждую неделю в пятницу утром приходила к ним в дом с большой корзиной вкусно пахнущего свежестыранного белья и, позавтракав на кухне, уносила все грязное белье, была в семье своим человеком и ходила туда еще задолго до рождения Гейнца. Пришла она и в тот день, когда евреев выселяли из Германии, хотя навещать евреев в то время было небезопасно и можно было легко угодить в черные списки. Гертруда была женщиной простой и немудрящей и потому не думала о гестапо. А пришла потому, что надо было отдать постиранное белье и получить немножко денег за свой труд. Белье она отдала, а денег не взяла. Где уж было говорить о деньгах, когда в доме такая суматоха, все вещи валяются где попало, чемоданы не запираются, маленькая девочка хнычет, а Гейнц от жара бредит в своей кровати, прижимая к груди желтый футбольный мяч с пятью кольцами Берлинской олимпиады на коже.

Гертруда сказала, что Гейнца в таком виде везти куда-то значит везти на верную смерть, пусть мальчика отдадут ей, у нее он будет как у Бога за пазухой, а когда все уляжется и люди придут в себя, вспомнят, что их Господь создал по своему образу и подобию, тогда родители вернуться в Берлин и Гертруда вернет им Гейнца в целостности и сохранности.

Она унесла мальчика, завернув его, как младенца, в теплое одеяло и посадив в бельевую корзинку. Гейнц ехал у нее за спиной и прижимал к себе мяч.

Каждое утро из всех подъездов выбегали оравы мальчиков и девочек со школьными ранцами на спинах и, толкаясь и шумя, заполняли двор, а затем исчезали в воротах.

Гейнц из-за бумажных крестов провожал их глазами, и, когда последний школьник убегал на улицу, он отходил от окна. Гейнц в школу не ходил. Чтобы он не совсем отстал от своих сверстников и не кончил свою жизнь таким же малограмотным неучем, как прачка Гертруда, она заставляла его читать вслух Библию — единственную книгу в доме, с пожелтевшими страницами и темным переплетом, на котором был вытиснен продолговатый крест.

Гейнц уже в третий раз читал Библию от самого начала до конца. Весна сменилась летом, затем наступили холода. А мальчик все читал Библию, и Гертруда, слушая его монотонное, безо всякого выражения бормотание, удовлетворенно кивала:

— Книга-то для христиан написана, а все о евреях рассказывает... Поэтому никакого греха не вижу...

К весне не стало жизни от бомбежки. Каждую ночь самолеты висели над Берлином. Трещали зенитки, метались, как очумелые, лучи прожекторов, тяжело, с подземным гулом рвались бомбы. И город горел. Квартал за кварталом. Покрываясь закопченными язвами руин.

От родителей Гейнца вестей не приходило. И мальчик стал понемногу забывать их. А Гертруда раньше многих узнала об их судьбе. Она теперь стирала в доме высокого чина из СС, и жена этого чина сказала Гертруде, что, мол, слава Богу, отныне Германия навечно будет чиста от евреев, ибо всех их, как телят, угнали в Польшу и ни на какие не на работы, а для окончательного решения еврейского вопроса. Их там прямо из эшелонов загоняли в газовые камеры, травили, как крыс, газом и сжигали в специальных печах, которые работали круглые сутки, без перебоя, все равно как заводы военного значения.

Гертруда мальчику ничего не сказала, а только чаще вздыхала, слушая, как он заунывно читает вслух Библию— и думала о том, что надо его запирать в доме и прятать подальше от фрау Шульце.

Жизнь для Гейнца начиналась после сигнала воздушной тревоги. В пустом дворе он носился как чумной, гонял мяч по серому, в трещинах, асфальту, разминая вялые мускулы, затекшие от долгого сидения в доме. И даже покрикивал. И даже пел. Потому что кругом стреляли зенитки, и его голос был слышен лишь ему одному.

В эту ночь он играл с особым упоением и пел и кричал во весь голос. Потому что бомбы, сотрясая землю, рвались совсем близко, возле тюрьмы Моабит, а зенитки, как собаки, сорвавшие голоса от бессильного лая, захлебывались на площади, и Гейнц не без злорадства представлял себе фрау Шульце, таскающую к орудиям снаряды, и бомбу, которая наконец настигнет ее, разорвав на куски и избавив мальчика от самого опасного врага.

Гейнц поискал глазами окна фрау Шульце. На них бумажные кресты были наклеены особенно аккуратно, как образец для других жильцов. Мальчик изо всей силы ударил по мячу. Он взвился над двором, как от ноги настоящего футболиста, и, описав полукруг, врезался в окно, зазвенев разбитым стеклом.

Мальчик похолодел. Он стоял, пригвожденный к месту посреди двора, на него, как на преступника, немо глазели черные окна с бумажными крестами, а в одном окне крест был разорван, и осколки стекла висели на обрывках бумаги.

Это было окно фрау Шульце. И там, в темной глубине ее квартиры, валялся желтый футбольный мяч с пятью олимпийскими кольцами — неопровержимая улика, по которой фрау Шульце без труда найдет преступника и сдаст его в гестапо. А заодно и прачку Гертруду, опозорившую арийскую расу противозаконным укрывательством еврейского подкидыша.

Над ним высоко-высоко ныли авиационные моторы, словно прощаясь с Гейнцем, которому теперь уже спасения нет. И светлые прожекторные мечи, скрещиваясь,

сражались над его головой, готовые вот-вот обрушиться на него — сжечь и испепелить.

Земля задрожала под ногами у мальчика, он упал, ощутив упругий толчок в грудь. Грохнуло так страшно, что у него заложило ватой уши, и ему показалось, что вокруг зазвенели колокольчики.

Когда он поднялся на ноги, то увидел, что весь двор, как рождественскими блестками, засыпан осколками стекла, и окна, все подряд, без исключения, на всех этажах, стоят пустые, без стекол, с рваными клочьями бумажных полос на рамах. Разбитого окна фрау Шульце никак невозможно отыскать среди сотен подобных.

И мальчик ожил, задвигался, запрыгал по скользкому стеклянному крошеву и так радостно и счастливо засмеялся, как это случалось с ним когда-то, когда он жил с мамой и папой, и никто ему в этом мире не был страшен.

Прожекторные лучи весело плясали вместе с ним, носясь по темному небу, и невидимые моторы пели ему песню.

ЭХО ВОЙНЫ

Из всех курортов мира, а мне довелось побывать во многих местах, я отдаю предпочтение Ялте — маленькому белокаменному городу, сползающему по склонам горного хребта до старинной набережной, с витыми чугунными решетками, за которыми внизу плещется теплое, бирюзово-синее море, почему-то называемое Черным.

Особенно хороша Ялта весной. В апреле, мае. Когда еще не наступила сухая жара. Тогда все цветет. Цветут горы, поросшие лесом, цветут блеклые домики, увитые глицинией. Из каждой расщелины каждого камня тянутся лиловые, алые, розовые цветы, и смесь невероятных запахов насквозь пропитывает воздух. Аромат не сухой и дурманящий, а свежий, росистый, ледяной от дыхания горной вершины Аи-Петри, до середины лета одетой в белоснежную шапку.

Апрель и май много лет подряд я проводил в Ялте, и когда я понял, что скоро покину Россию навсегда и безвозвратно, меня первым делом потянуло в Крым, попрощаться с Ялтой.

Приближался май. В Москве было сыро и холодно. С работы меня выгнали, и я томился в ожидании того, что власти предпочтут: отпустить меня в Израиль или сослать в Сибирь, чтоб другим евреям неповадно было следовать моему примеру. От такого ожидания можно потихоньку сойти с ума.

Я отправился в Ялту. Снял подешевле не то кладовку, не то сарайчик в двух шагах ходьбы от набережной. Там стоял деревянный топчан, напоминающий тюремные нары. Окон вообще не было, но до вечера там было вполне светло из-за щелей в дощатых стенах. В таком месте ночлега, кроме дешевизны, была еще одна бесценная для меня сторона. Ялтинские хозяйки сдавали под жилье сараюшки нелегально, а потому никаких документов для прописки не требовали. Мне было абсолютно ни к чему, чтоб ялтинская милиция узрела мой паспорт.

Ялта в эту пору запружена народом. На галечных узких пляжах тела лежат так

плотно друг к другу, что негде ногу поставить, и напоминают, когда смотришь сверху, с набережной, лежбища морских тюленей.

В ресторанах мяса нет. Никакого. Даже кур. Ни рыбы. Одни макароны с несъедобным соусом.

Поесть прилично можно лишь в ресторане «Интурист», куда пускали только иностранцев. А аборигены, советские люди, перебивались чем попало. И не жаловались. Привыкли. Ялтинский воздух заменял пищу. Ласковый ропот моря заглушал голодное урчанье в животе. Люди жадно грелись, купались до изнеможения, на ночь напивались до чертиков, благо водка продавалась в изобилии, и были счастливы, потому что отпуск у них и надо насладиться праздной жизнью на год вперед.

Наступило 9 мая. Этот день в России празднуется как день Победы над фашистской Германией во второй мировой войне. В других странах победу отмечают 8 мая, а в России-девятого. Пьют, гуляют. На домах вывешивают красные флаги и по радио играют военные марши.

В тот раз исполнилось двадцать пять лет со дня победы. Четверть века. Круглая дата. Поэтому в Ялте с утра в садах гремели духовые оркестры, а на набережной в толпе среди загорелых курортников замелькали средних лет местные жители в старых армейских кителях, позванивая потемневшими от времени медалями. У одних не хватало руки, и пустой рукав кителя был подвернут и булавкой приколот к плечу, другие шагали на костылях, переставляя единственную ногу, обутую в начищенную гуталином туфлю. Все с утра были одинаково пьяны и возбуждены.

Таков уж этот праздник. Особенный. С примесью печали. Люди вспоминают молодость, пришедшую на войну, и своих товарищей, рассеянных в могилах по Европе. И грустят. Но и радуются, что сами-то живы, хоть и трачены, как молью, следами от пуль и осколков.

В этот день я тоже выпиваю. Граммов сто-сто пятьдесят водки. Не больше. В самом конце войны меня ранило в живот. Неудачно. До сих пор какие-то осложнения с желудком. И пить нельзя. Врачи заставляют придерживаться диеты: ни острого, ни соленого.

— Зачем же тогда жить? — спрашиваю их я.

— Чтоб строить коммунизм, — отвечают и смеются.

В этот день я забываю про наставления врачей и выпиваю свою норму и закусываю соленым огурчиком и квашеной капустой, а шашлык посыпаю перцем так, что во рту вспыхивает пожар. Такой день у меня раз в году.

По русскому обычаю в одиночку не пьют. Нужна компания. Душевная. Свои ребята. На худой конец, можно вдвоем с товарищем выпить и отвести душу в разговоре, в воспоминаниях. Но чтоб один?

Как на грех, сколько я ни толкался в толпе на набережной, никого из приятелей не встретил. Наступало время обеда. Самый раз выпить за победу. Ищу глазами, процеживаю толпу. Никого... с кем бы хотелось посидеть на пару.

И я пошел один. В ресторан гостиницы «Ореанда». В старомодную, в купеческом стиле, еще при царе построенную «Ореанду». Туда пускают исключительно

иностранцев. Но и мне место найдется. Знакомая официантка. Клава. Оставлю на чай пару лишних рубликов.

Мимо метра, который следит, чтоб местные в ресторан не пролезли, я прохожу в цепочке шумных американцев. Одет я в заграничное, а рта не открываю. Дальше нужно глазами отыскать Клаву и показать ей один палец. Мол, место требуется всего одно. Клава пробегает вся потная, с тяжелым подносом в руках, и кивает мне, чтоб следовал за ней.

Так я получаю место в ресторане, где обедают сплошные иностранцы. Стол, который мне показала глазами Клава, уже был накрыт на три персоны. Пустовало, без посуды, место перед четвертым стулом. Я сел на этот стул, предварительно поздоровавшись не совсем членораздельно, ибо не сомневался в том, что мои соседи по столу если и понимают по-русски, то еле-еле.

Прямо передо мной хлебал украинский борщ худой негр, улыбавшийся застенчиво, чем сразу убедил меня в том, что он негр из Африки, а не американец, ибо американские негры белым так не улыбаются. За все время, что я провел за столом, он так и не проронил ни слова, и я даже представления не имею, на каком языке он объясняется.

Слева и справа от меня сидели две женщины. Белые. В прямом смысле этого слова. Блондинки. Не весьма выразительные. Чем-то похожие. Как мать и дочь. Что впоследствии подтвердилось. Это были немки. Туристки. Не из Западной Германии. А из нашего лагеря. Из Германской Демократической Республики. Из города Карл-Маркс-Штадт. Который прежде, до того, как коммунисты пришли к власти, назывался Хемниц. Эти сведения я узнал в первые несколько минут. Потому что по натуре я человек общительный и по-немецки, если напрягаю память, болтаю довольно сносно.

Я спросил, как им нравится Ялта, и обе немки переглянулись, а старшая, мама, сказала без особого восторга, что, мол, здесь неплохо, и похвалила Черное море.

Я сделал Клаве заказ. Она принесла закуски и покрытую морозным инеем бутылку «Столичной» водки и спросила, неужели я сам все это выпью. Я ей ответил, что она забыла, какой сегодня день, и она рассмеялась, тряхнув льняными косами, уложенными вокруг головы:

— Никого тут нет из наших, а то бы я тебе посадила фронтовика для компании.

— А я мысленно чокнусь кое с кем, — ответил я, наливая в рюмку.

Немка, старшая, прислушалась к нашему разговору. Видно, понимала по-русски. И когда Клава отошла, спросила меня по-немецки:

— А какой сегодня день, что вы обязательно должны выпить?

— Я с удовольствием и вас угощу. Составьте компанию, — протянул я ей наполненную до краев рюмку. — Выпьем за победу.

Какую победу? — подняла она брови. Неужели не знаете? — рассмеялся я. — Сегодня день победы над Германией.

Она уже протянула руку к рюмке и пальцами коснулась моих пальцев, но отдернула так, словно ее электрическим током ударило. Рюмка дрогнула в моей руке, и водка пролилась на скатерть.

Уже который раз моя общительность ставит меня в неловкое положение. Ну, какого черта я полез к немке с разговорами о Дне Победы? Над ее страной. Пускай она из наших немок, из нынешних союзников. Но ведь она была взрослой в той самой Германии, которую мы поставили на колени, и особой радости при упоминании об этом факте, естественно, не испытывает. Вот дочь ее — другое дело. Она родилась после войны. Для нее это всего-навсего история.

Я глянул на дочь. Ее серые глаза под слегка накрашенными ресницами дрогнули, и она отвела от меня взгляд, потупилась в тарелку. Следовательно, и ей неприятен этот разговор. Чего уж тогда ожидать от матери?

Мать была примерно одних лет со мной. Седых прядей я не обнаружил — у блондинок седина незаметна. Но на лице сквозь пудру проступали морщины, а под глазами набрякли нездоровые, с просинью, мешочки. У нее был острый носик, острый подбородок и тонкая, почти незаметная, верхняя губа — верный признак ядовитого характера. Да плюс короткие, подвитые, белесые волосы. Дочь намного лучше ее. Лицо мягче, женственней и, конечно, свежей. Хотя бы потому, что была совсем юной. Лет двадцати, не более. У матери худая, жилистая шея и угловатые костлявые плечи, выдававшие нелегкую жизнь и тяжелое бремя работы, которую эти плечи несли много-много лет.

У меня нет никаких предубеждений против немцев как народа. Я не возлагаю на весь этот народ тяжесть вины за преступления фашизма, так же как русские люди, на мой взгляд, не могут нести ответственность за не меньший террор коммунизма. Человек ответствен за свои личные поступки, а не за прегрешения государства. Ибо влиять на поведение государства отдельный его гражданин может еще меньше, чем, скажем, на капризы погоды.

За нашим столом установилось молчание. Только негр из Африки, косивший синими белками своих глаз на насупившихся женщин слева и справа от него, шумно глотал горячий борщ, втягивая толстыми большими губами всю ложку до самой ручки.

Я выпил, обжег небо водкой, глубоко вздохнул и зацепил —вилкой кружок соленого огурчика.

Обе женщины не ели. И не поднимали глаз.

— Я извиняюсь, если испортил вам настроение, — счел я необходимым разрядить обстановку. — Но факт остается фактом... союзники победили Германию в той войне... и, может быть, поэтому я сажу с вами за одним столом.

— Вы воевали? — устремила на меня холодные серые глаза старшая.

— Да.

— И в Германии были?

— Конечно. Можно сказать, пешком прошел. Глаза у нее сузились, и она цепко впиалась взглядом в мое лицо.

— И в Померании были?

— Был. А что? Сначала в Пруссии... потом пошли , на Померанию.

— А такой город... Шнайдемюль... помните?

— Как же? — оживился я, и снова увлекла меня моя общительность. — Шнайдемюль... еще бы не помнить... мы долго штурмовали этот городишко... улицу за улицей... дом за домом... там моих товарищей знаете сколько полегло? Вот этот ресторан... если наполнить до отказа... не хватило бы места...

Значит, вы помните Шнайдемюль?

— На память, слава Богу, не жалею. У меня тоже память хорошая...

Она произнесла эти слова таким враждебным тоном, что у меня заныло в животе. Возможно, оттого, что я нарушил диету. Так я подумал для успокоения, а на самом деле нутром почуял, что влипаю в очень нехорошую историю, в которую мне, при моем нынешнем положении, влипать никак не следовало.

На глаза у немки навернулись слезы, а верхняя тонкая губа мелко-мелко задрожала.

— Мама, — испуганно сказала дочь. — Тебе нельзя волноваться.

Не мешай, — отрезала мать, сжимая губы, чтоб унять дрожь. Лицо ее быстро покрывала бледность. — Я вас узнала.

— Меня? — глупо хмыкнул я, совершенно растерявшись оттого, что понял — имею дело с истеричкой. — Я, мадам, не имел чести быть с вами знакомым.

— А вам тогда этого не требовалось, — чеканя каждое слово, медленно произнесла она, не отрывая взгляда от моего, несомненно, покрывшегося краской лица. — Вы нас вынуждали под дулом винтовки.

— Что? Что? — откинулся я на спинку стула, все еще не понимая, что она имеет в виду.

— Я вас узнала... — прошептала она свистящим змеиным шепотом. — Это были вы... вы... русская свинья... меня изнасиловали в Шнайдемюле... я узнаю этот нос... вот эти мерзкие глаза., , мне было семнадцать.

— Вы с ума сошли! — отпрянул я. — Мне самому тогда было семнадцать лет... я никого не насиловал... я был совсем мальчиком.

— Вы! Вы! — вскрикнула она так, что за соседними столиками обернулись, а наш негр перестал жевать и задержал ложку у толстых синих губ. — Вам было столю—ко... совсем молоденький насильник. навалились на меня бандой... сколько вас было?., десять или двадцать?.. не помню. Но это лицо мне врезалось в память... вот эти глаза... этот нос... потому что вы были первым... а потом уж я ничего не создала.

Я не знал, что делать. Оправдываться, опровергать не имело никакого смысла. Она уже потеряла контроль над собой и не могла внять голосу разума. Я ей, без всякого сомнения, напомнил кого-то, кто ее, совсем юную девчонку, изнасиловал в оккупированном советскими войсками немецком городе Шнайдемюле. Изнасиловали целой группой, а запомнила она одно лицо, того молоденького солдатика, первым опрокинувшего ее наземь и содравшего с ее похолодевших от страха ног штанишки.

Самому себе мне не нужно было доказывать, что это был не я. Доказывать нужно ей, а она была невменяема. Зрачки глаз расширились, губы и подбородок дрожат, лицо бледно, а под дряблой кожей шеи разливается краснота.

В моей памяти лихорадочно всплывали картины четвертьвековой давности. Весна

сорок пятого. Дымная и серая. Обгоревшие остовы готических красных зданий. Брызги грязного снега из-под танковых гусениц. Пустые улицы. Дома с распахнутыми настежь дверьми. Подушки и женское тряпье под колесами пушек, под стоптанными подошвами солдатских сапог.

Немецкие города безлюдели при подходе советских войск. Солдаты грабили поспешно покинутые жителями дома, доедали из еще не остывших кастрюль пищу, которую варили перед бегством немцы. Из погребов и подвалов вылезали на свет божий те, что не успели уйти. Женщины и дети. Парализованные от страха. Запуганные своей пропагандой, что русские всех вырежут. Неверно. Не резали. Я прошел Германию и ни разу подобного не видел.

Зато отыгрались на женщинах. На них брали реванш. Отводили душу. Я думаю, на всей территории Германии, где побывали советские войска, не осталось ни одной женщины в возрасте от тринадцати до шестидесяти лет, с которой бы не содрали солдаты одежды и скопом, взводами не пропустили в очередь.

Особенно боялись немки азиатов — киргизов, казахов. «Шлипауге», косоглазые, как они их называли. Эти желтокожие, плосколицые и скуластые солдаты в русской форме наводили страх на немецких женщин, валили их прямо на улице, сдирали штаны с матерей на глазах у их детей.

Я сам однажды наскочил на подобное. Где-то под тем же Шнайдемюлем, будь он трижды проклят. Зашел в одиноко стоявший у дороги дом с распахнутой дверью. Хотел напиться. Думал, дом необитаем. Вошел на кухню. Слышу какую-то возню в комнатах. Видно, только что завтракали. Открыта дверь в другую комнату. Я заглянул. На широкой деревянной кровати среди перин и подушек лежал солдат в грязных сапогах и в шинели, не сняв с головы шапки-ушанки и закинув за спину автомат с диском на брезентовом ремне.

Из-под солдатского оголенного зада, с полуспущенными до сапог штанами, торчали в обе стороны тонкие и беспомощные ноги женщины, белые ноги с линиями голубых вен, и мелко дергались. А из-под плеча солдата, из-под его вспученного погона, словно кусок неживого парика, виднелись пучки спутанных светлых волос, щека и скошенный глаз. И одна рука, свесившаяся до пола и дергавшая растопыренными пальцами.

— Пейтер, век! Век! — стонала по-немецки женщина, отгоняя кого-то рукой.

Я метнул глазами вслед за ее рукой и увидел в других дверях, комната была проходной, белоголового мальчика лет восьми в штанишках со спущенной шлейкой и девочку, на голову меньше его, с чулком на одной ноге и второй босой, розовой от холода. Своего старшего, Петера, мать со стоном просила уйти, не смотреть и увести сестренку.

— Пейтер, век! Век!

А дети не трогались с места и, не плача, тупо смотрели на кровать. У девочки на верхней губе висела густая простудная сопля.

Я чуть на взвыл от стыда. От отвращения. От охватившей меня злобы. Как я не убил этого солдата, одному Богу известно. Я навалился на него, вцепился в плечи, сбросил с кровати и бил ногами по бокам, по спине, под ребра, пока он ползком, на четвереньках убирался из дома. Его скуластое широкое лицо было мертво от страха, и

он даже не думал сопротивляться. Вздумай он, я бы его пристрелил.

Опомнившись, я оглянулся на кровать — среди сбитых в кучу перин и подушек, изгаженных грязью с солдатских сапог, женщины не было. И дети исчезли. Я не стал их искать и выскочил из дома на дорогу. Пройдя с полкилометра, я вспомнил, что зашел в этот дом напиться, да так и забыл набрать воды.

И вот двадцать пять лет спустя за чьи-то грехи меня, уже немолодого человека с пробивающейся сединой, в ресторане, на людях, незнакомая женщина, немецкая туристка, осыпает проклятиями.

— Русише швайн! — как плевки, срывались с ее губ непристойные ругательства времен войны, которыми немцы, тогда еще, вначале, победители, осыпали население оккупированной России.

— Ферфлюхте швайне-хунд! Я ненавижу вас. Она обзывала меня «русской свиньей». У меня дома. В России, в стране, которая победила ее страну, на моем любимом курорте в Крыму, в ресторане, куда нас не пускали, а только иностранцев. И кого обзывала? Солдата-победителя! Да еще еврея. Который теперь сам собирается покинуть ставшую негостеприимной свою родину и искать убежища Бог знает где. Меня, ни разу не обидевшего женщину, объявить насильником! Какая чудовищная нелепость! Какой кошмар!

— Русише швайн! — повторяла она, готовая вцепиться ногтями в меня. — Я вас всех ненавижу! Всех! И вашу страну! Ваш воздух!

Ее дочка, пунцовая от волнения, плакала навзрыд и сквозь слезы твердила:

— Мама... мамочка... тебе нельзя.

За соседними столиками люди вставали с мест, громко звали администратора.

И я бежал. Выскочил из-за стола, бросился к выходу и, пробегая мимо выпучившей глаза официантки Клавы, крикнул на ходу:

— Потом рассчитаюсь!

За мной не погнались. Я смешался с толпой на набережной и ушел как можно дальше от гостиницы «Ореанда». Успокоился лишь у самого морского порта. Там, у пивного киоска, стояла очередь, и меня окликнул мой приятель по пляжу, Костя, моих лет малый, тоже бывший фронтовик:

— Эй, друг, валяй к нам, примем по стопочке. Сегодня наш день!

Очередь одобрительно загудела. Она состояла исключительно из мужчин, и притом немолодых. Кое у кого болтались пустые рукава, а один, безногий, подъехал в коляске.

Костя вынес в обеих руках еще две стопки водки. Отдал их мне, а сам метнулся назад за пивом и закуской. Мы выпили стоя. Под жарким полуденным солнцем. Я поперхнулся. Водка попала в дыхательное горло, и я долго кашлял. Фронтовики у киоска дружелюбно загудели:

— Не пошла! Сдаешь, пехота!

Потом мы с Костей гуляли в праздничной толпе на набережной, дожевывая пирожки, и я подробно, в лицах, рассказывал ему, что случилось со мной в ресторане. Костя слушал внимательно и только головой качал.

Мы продвигались по набережной, и я не заметил, как поравнялись с гостиницей «Ореанда». У ее старомодного, круглого, с колоннами, фасада стояла толпа, окружившая белый автомобиль «Скорой помощи» с красным крестом на боку.

Мы протолкались к автомобилю. Из дверей гостиницы санитары вынесли носилки, на которых покоилось человеческое тело, укрытое простыней.

За носилками, плача, семенила девушка, светловолосая, с пунцовым и припухшим от слез лицом. Я не сразу узнал ее. Это была одна из моих соседок по столу. Младшая. Дочь. И тогда догадка поразила меня: на носилках была ее мать. Мурашки поползли по моему телу. Я почувствовал холод, озноб, хотя день был жаркий по-летнему.

Среди зевак слышался шепоток:

— Иностранка! Инфаркт! Прямо в ресторане.

— Она? — догадался Костя.

Я быстро пошел прочь. Туда, где кончалась ножная и пыльная дорога вилась вверх, между домик и кипарисами.

Костя, тяжело дыша, нагнал меня. Пошел рядом.

Мы молчали. Нам, немолодым, крутой подъем был нелегко, и мы дышали с ним как загнанные лошади. Потом, уж где-то высоко над Ялтой, откуда виден был весь залив и длинный бетонный пирс возле порта, с белым огромным теплоходом, застывшим на голубом стекле моря, мы остановились, потому что совсем выбились из сил. Видна была набережная и зеленая крыша гостиницы «Ореанда». Толпы уже не было. Как и не было автомобиля «Скорой помощи».

— Ты-то тут при чем? — пытался утешить меня Костя.

Я ничего не ответил. Смотрел бездумно, как оглушенный, по сторонам.

Кругом захлебывалась в цвету крымская земля. Каждый камень был усеян лепестками. Лиловыми. Голубыми. Алыми, как кровь. И дремотный нагретый воздух, приторно-сладкий, пропитанный запахами, был удушающе тяжел, какой бывает после боя, когда долго не убирают трупы и они начинают пухнуть и разлагаться.

— Эхо войны, — философски произнес Костя. Горное эхо не откликнулось, не повторило его слов.

Горы молчали, нависая над нами. И совсем высоко, как набухшая слеза, посверкивала на солнце снежная голова Ай-Петри.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Еще с вечера Луис Розенвассер сказал своим постояльцам, что завтра он в них не нуждается, все свободны и могут заняться чем вздумают, потому что завтра Йом-Кипур, Судный день, и хоть он в Бога не верует, но работать в такой день не рискнет: не приведи Господь, прослышит об этом кто-нибудь из евреев-заказчиков, и создадут такую репутацию, что ломаного гроша потом не заработаешь. Да и вообще еврею, каким бы он ни был, пристойней в этот день если не поститься, то хотя бы ничего не делать, сократив грех до позволительного минимума.

Дан Бен-Давид был знаком с Луисом уже с полгода, примерно с того дня, как он прилетел из Израиля в Нью-Йорк, имея в паспорте туристскую визу сроком на один месяц и острое желание зацепиться за Америку любым путем и не возвращаться назад. Срок визы давно истек, пять месяцев Дан жил в Нью-Йорке нелегально. Поэтому держался за Луиса. Тот хоть и обсчитывал изрядно, но давал безопасный кров и работу, на которой не разживешься, но и с голоду не умрешь. Если бы не Луис, Дану пришлось бы возвращаться с пустыми руками, истратив последние деньги на дорогу в оба конца.

Иностранцу с просроченной визой трудно подыскать работу в Нью-Йорке. Кто станет связываться с таким, чтоб потом нажить неприятности с полицией? Одна надежда была на евреев. Но нью-йоркские евреи обожают своего брата израильянина, когда он живет в Израиле и выигрывает войны, что доставляет им неслыханную радость. Но когда он убежал из Израиля и хочет стать таким же, как они, — издалека обожать свою родину, они дружно поворачиваются к нему спиной и даже не хотят смотреть в его сторону. Он оскорбляет их лучшие чувства.

Луис Розенвассер отличается от таких евреев тем, что он сам когда-то, еще до того, как Дан родился, сбежал из Израиля, называвшегося тогда Палестиной.

Сбежал, когда там шла Война за независимость, и у него, если верить ему, были на то свои политические причины. Поэтому Луис не испытывал никакой враждебности к таким парням, как Дан. Наоборот, это подчеркивало еще раз, что он был прав, покинув еще в 1948 году берега Палестины. И он брал их без документов на работу, платил им не чеками, а наличными и за совсем небольшую плату позволял жить в своем доме.

Что это был за дом — это другой вопрос. Таких трущоб Дан и в Тель-Авиве не видал. Дом стоял в жуткой дыре в Бруклине, и слева, и справа от него, и напротив, через улицу, на несколько блоков тянулись такие же трехэтажные дома, некогда окрашенные в бордовые и черные цвета, но теперь облупившиеся до кирпичей, с пустыми выбитыми окнами без рам и без входных дверей. Все эти дома были давно покинуты, необитаемы. Все, что можно унести, с них ободрали. Когда поднимался ветер, начинался такой концерт, хоть уши затыкай: гремели листы кровельного железа, свистела провисшая проволока, жалобно скрипела забытая под потолком люстра. По ночам в них не светило ни единого огня, и одному пробежать такую улицу было довольно страшно.

Светились окна только у Луиса Розенвассера. На втором и третьем этаже. Первый стоял пустым, и окна его были наглухо забиты листовым железом от воров. Луис располагался наверху. Второй этаж был в распоряжении квартирантов, которые одновременно работали на Луиса. Теперь их осталось двое. Месяц назад Луису удалось избавиться от третьего постояльца, вечно пьяного парня откуда-то из Алабамы. Он говорил с таким южным акцентом, а кроме того, у него были выбиты все передние зубы, так что понять его даже Луис порой не мог. Парень, когда протрезвлялся, был золотым работником, все горело у него в руках, и никогда не спорил, получая плату. Но он протрезвлялся все реже и реже, и полиция несколько раз напоминала Луису, чтоб больше не держал у себя этого бродягу.

Дан платил всего двадцать долларов в неделю за жилье — смехотворную цену по нью-йоркским масштабам — и имел за это кровать с хорошим матрасом, продавленное кресло и шкаф, где висели и лежали его вещи. Кроме того, он мог пользоваться

кухней, большой и захлавленной, и не платить отдельно за газ и электричество.

Второй постоялец имел свою комнату рядом, но с согласия Дана перетащил к нему свою кровать и тумбочку, и они зажили вдвоем. Он тоже был из Израиля, и они могли разговаривать всласть на иврите, отдыхая хоть на время от необходимости мучительно подбирать английские слова. Он был сверстником Дана из Назарета, города в Галилее, и звали его Махмуд. Махмуд был арабом. Израильским арабом. В Назарете живут арабы-христиане. Иврит он знал лучше, чем арабский язык. И Дану он был ближе и понятней, чем нью-йоркский еврей.

Махмуд родился уже после создания Израиля и поэтому своей родиной считал не Палестину, как другие арабы, а Израиль. За это кое-кто из соплеменников косился на него и нехорошо качал головой. С другой стороны, как араб он не чувствовал себя в стране на все сто процентов дома. Подрос. Еврейских мальчишек, с кем раньше гонял мяч, взяли в армию. Его — нет. Не доверяют, следовательно. Взорвется на базаре подложенная террористами бомба, полиция начинает хватать всех подряд арабов. Несколько раз замели и Махмуда, только потому, что ему случилось быть поблизости. И даже по шее дали. А что будет дальше? Одному Богу известно. Махмуд попрощался с родными, и вот он живет нелегально в Нью-Йорке у Луиса и дает ему эксплуатировать себя до поры до времени, пока ему не удастся сделать себе хорошие документы и больше — не быть нелегальным иммигрантом.

Дан покинул Израиль по другой причине. Он-то служил в армии, танкистом. И служил слишком долго. Сначала положенный срок, а потом снова призвали из-за войны, и он побывал даже в Египте, на той стороне Суэцкого канала. Затем долго лежал в госпитале. Вот и вся молодость прошла. А хочешь купить автомобиль — даже не подступайся. С израильскими налогами это по карману только богачу, или правительственному чиновнику, или вору. А здесь на второй месяц он купил подержанный пикап всего за двести долларов. Чуть подтянул его, кое-что поменял, ведь он — танкист и в машинах толк знает, сейчас ходит, как новенький. Вот только бы грин-карту достать, сделаться легальным, и тогда он заживет как человек и навсегда попрощается с Луисом, чтоб больше и не вспоминать о нем.

Луис был по-своему добрым человеком, хотя обсчитывал нещадно, что, впрочем, не намного делало его состоятельней. Вот эти три этажа полуразваленного дома на мертвой, покинутой даже неграми улице. И визитная карточка, где он назвал себя генеральным подрядчиком и, кроме домашнего, указал несуществующий служебный телефон. Вернее, существующий, но не его. Это телефон маленькой конторы одного еврея, секретарша которого согласилась за небольшую плату отвечать на звонки, адресованные визитной карточкой ему, Луису Розенвассеру, и по вечерам звонить ему домой, чтоб сообщить, кто искал его в течение дня.

У него то ли не было денег, то ли желания вставить зубы, и в свои пятьдесят с чем-то лет он шамкал пустым ртом с несколькими изъеденными желтыми корешками.

Когда-то он купил этот дом за бесценок, рассчитывая со временем заработать на нем. Он больше не вложил в него ни копейки, дожидаясь лучших времен, и дом окончательно обветшал. Лестницы зияли дырами на месте обвалившихся ступеней, перила шатались, и на них было опасно опереться. На все три этажа оставался в исправности один туалет, на самом верху, и Махмуд с Даном бегали по нужде мимо кровати Луиса. Что стоило исправить нижний? Благо рабочая сила бесплатная. Но

Луис не желал. Случится чудо, и появится на рынке интерес к его дому, тогда он вложит в него сколько нужно, отделает как игрушку и продаст за сказочную сумму. Не случится чуда, зачем тратить хоть один цент на эту развалину? Луис подождет еще немного, заколотит двери и уедет отсюда, как это раньше сделали соседи. Правда, грозитя он уехать который год, да все никак не соберется и состарился вместе с домом.

Луис был неудачником. Больше двадцати лет в Америке, имеет давно гражданство, а не достиг ничего. Даже экзамены на водительские права не сдал, а вынужден всегда, когда нужен автомобиль, просить кого-нибудь об одолжении.

Луис-генеральный подрядчик по визитной карточке, а на деле мелкий маклер, рыщущий по небогатым кварталам, как голодный шелудивый кот по помойным ямам, в поисках какой-нибудь ремонтной работы: крышу поправить, новые полы настелить, поставить кирпичные ступени к веранде. За меньшую цену, чем берут другие. И, найдя заказ, поднимает своих постояльцев с постелей, и те делают всю работу. Сам Луис гвоздя в стену вбить не умеет. Он суетится, кричит на них бес толку, спорит и торгуется с хозяином. Когда работа выполнена, генеральный подрядчик получает с заказчика плату, сумму которой рабочие не знают, и наличными дает каждому, по паре десятков долларов. Когда Луис берет на дело нелегальных иммигрантов, расчет проходит спокойно, без эксцессов. Но если он вынужден прихватить парочку нью-йоркских негров-наркоманов, которых никто больше на работу не возьмет, тогда при расчете случаются скандалы, и однажды Луиса крепко побили, отчего у него с тех пор шея плохо поворачивается вправо.

Деньги, что ему правдами и неправдами удастся оставить себе, такие мизерные, что за все годы жизни на такой опасной улице его ни разу не пытались ограбить. Уголовный мир знает Луиса. Часть своего дохода он получает от экономии на материалах. Негры, истратившие на наркотики свои последние центы, по ночам таскают для Луиса из пустых домов радиаторы парового отопления, уцелевшие доски с полов, оконные рамы.

Луис по-своему щедр и даже любит своих земляков-постояльцев. Сделав удачное дело, он не поскупится и принесет домой парочку бутылок израильского вина «Кармель», купит в арабской лавке на Бруклин-Хаите настоящего кофе с горькими зернами кардамона, и они втроем закатывают пир на третьем этаже, рассевшись на кровати хозяина. Поют на иврите израильские песни, и тут араб Махмуд обставляет Луиса, потому что Луис не знает новых песен, а только старые, времен еще до создания государства Израиль. Они дружно ругают американскую пищу, наперебой доказывают друг другу, что израильские помидоры не чета здешним, а уж о винограде нечего и говорить. Что же касается кофе, то уму непостижимо, как такой богатый народ может глотать гадость, называемую «регулятор кофе», которую в Израиле даже кошка бы пробовать не стала.

Размякнув от вина и слегка обалдев от чрезмерно выпитого арабского кофе, крепкого, как динамит, Луис начинает разглагольствовать о политике и причинах своего несогласия с Израилем, трясая морщинистой, как у индюка, шеей. .

— Вы, мальчики, не поверите, а я все своими глазами видел. И никогда не прощу этого социалистам, будь они хоть сто раз евреями. Они нас, правых, боялись больше, чем арабов. И когда мы, «Эцель», из Америки доставили в Израиль, где каждая

винтовка была на вес золота, целый корабль с оружием, Бен-Гурион выставил пушки на пляже и потопил «Алталену». С оружием и с людьми.

Я стоял на тель-авивском пляже рядом с Менахемом Бегином, можете его спросить, и мы оба плакали. А что было делать? Поступить как они и начать резню? Евреев против евреев? Нас бы тогда совсем арабы задушили. Я махнул на все и уехал. И был прав. Вы сами знаете, до чего социалисты довели нашу бедную страну. Иначе бы вы не сбежали. А как обидно! Какая могла быть страна! Жемчужина! Изумруд! Бриллиант!

И тут выяснялось, что даже Махмуд тосковал по Израилю. А уж о Дане и говорить нечего. Он часто во сне с умилением видел грязную заплыванную тель-авивскую автобусную станцию — тахану мерказит. А то вспоминал шоссе Тель-Авив — Иерусалим, выющееся среди невысоких холмов Иудейских гор, покрытых сосновым лесом, высаженным здесь руками первых поселенцев. По этому шоссе, будучи в армии, много раз перегонял свой танк, поставленный на плат-форму автотягача, и сам сидел наверху на броне и, как король, оглядывал окрестность.

Свои проклятия социалистам Луис завершает тостом в честь Америки — страны, где, правда, невкусные помидоры и кофе — на смех курам, но где перед каждым открыты большие возможности. И тут же, близоруко щуря глаза, спрашивает:

— Посмотрите, мальчики, я плохо вижу, там не крыса бежит?

Чтоб зацепиться за Америку, надо жениться на американке. Это самый верный путь. Каждый нелегальный иммигрант это знает. Был момент, когда Дану казалось, что он уже у цели. Луис подрядился сменить электропроводку в магазине одного еврея в Квинсе и послал туда Дана, потому что Махмуд умел выполнять работы по дереву и бетону, а Дан знал электротехнику и слесарное дело. Работа была пустяковая, и Дан справился с ней за полдня. Хозяин, очень довольный качеством, пригласил Дана обедать к себе домой. Как потом выяснилось, не только поэтому. У хозяина была дочка на выданье, а такой еврейский парень из Израиля, с такими золотыми руками, мог оказаться неплохой партией для нее. И для Дана это было то, чего он искал. Не красавица, но вполне симпатичная. И папа, который поможет на первых порах.

Дан после этого обеда дважды был у них в гостях и вечерами ходил с ней смотреть кино на Квинс-бульвар. Он ей нравился, и оставалось сделать лишь предложение. Но именно тогда черт дернул ее за язык, и она созналась ему, уверенная, что это обрадует его, что мечтает уехать из Америки в Израиль, и даже свадьба ее будет там. Потому что она хочет, чтоб ее дети не стали хиппи, как это сейчас модно в Америке, а выросли нормальными, полноценными евреями. На третье свидание Дан не явился.

Сегодня, в Судный день, Дан не знал, куда себя девать, и отправился в Манхэттен побродить по Пятой авеню и поглазеть на витрины. У него была мысль сходить в кино, но это обошлось бы в четыре доллара, а просто погулять по самой богатой в мире улице не стоило ничего. А еще здесь была возможность повстречать кого-нибудь из земляков, потрепаться, отвести душу, а может быть, и получить дельный совет.

На Пятой авеню было особенно заметно, как много сабр махнули рукой на Израиль и свили себе неплохие гнездышки здесь, за океаном. Продавцы в магазинах, особенно почему-то там, где идет торговля радиотоварами и поношенными джинсами, разговаривали по-английски с бронебойным ивритским акцентом, а уж в желтых такси

каждый третий шофер был бывшим израильским парашютистом или танкистом. Луис, горько усмехаясь, уверял Дана, что если прочесать весь Нью-Йорк, то здесь можно укомплектовать из дезертиров парочку парашютно-десантных и танковых дивизий для Израиля.

Летом Луис привел сюда Дана, на Пятую авеню, потому что был День Независимости Израиля, и нью-йоркские евреи отмечали этот день большим парадом. Сотни оркестров в чудной маскарадной униформе времен Наполеона маршировали по центру Манхэттена, сотрясая воздух «Хавой-Нагилой» и «Злотым Иерусалимом». А между оркестрами шли бесконечными толпами еврейские дети и старики, помахивая израильскими флажками и полизывая мороженое. Они шли весь день по Пятой авеню, и казалось, что кроме евреев в этом городе вообще никого нет, если не считать негров и пуэрториканцев, которые вообще неизвестно как сюда затесались.

А на тротуарах стояли любопытствующие зрители с очень знакомыми физиономиями. Целыми семьями. И разговаривали между собой исключительно на иврите. Как и Дан с Луисом, это были исключительно беглые израильтяне, и по случаю Дня Независимости они тысячами выползли из всех щелей огромного Нью-Йорка и, заполнив тротуары Пятой авеню, ликовали вместе с американскими евреями, славя далекий Израиль, но в марширующие колонны не совались — это было бы уж совсем неприлично.

— Ну, скажи, не цирк? — брызгая слюнями, сатанел Луис, стараясь перекричать оркестры. — Эти, кто никогда не поедут на Ближний Восток рисковать своей шкурой, демонстрируют любовь к Израилю на безопасной Пятой авеню, и им аплодируют бежавшие оттуда мужественные евреи. Цирк! За который мы еще заплатим!

Дан прошел сегодня Пятую авеню с 42-й улицы до Сентрал-Парка и двинул обратно, но пока не встретил знакомых среди фланирующих вдоль зеркальных витрин пешеходов.

По Пятой авеню в Судный день густо шли автомобили, и к этому трудно было привыкнуть. В Израиле в этот день замирала вся страна, и самый отчаянный безбожник не то что в Иерусалиме, но даже в декадентском Тель-Авиве не отважится в этот день сунуться на улицу в автомобиле.

А в Нью-Йорке хоть полно евреев, больше, чем во всем Израиле, но город все же нееврейский, и в Судный день по нему автомобили гоняют не в меньшем числе, чем в любой другой день.

День выдался теплый, но в щели между небоскребами небо заволакивали серые тучи. У многих, кто прогуливался по Пятой авеню, были в руках сложенные зонтики. Даже негр с бегающими глазками, незаметно сующий на углу прохожим мужчинам розовые листочки с приглашением посетить ближайший публичный дом, тоже держал свернутый зонтик под мышкой. Он сунул такой же листочек и Дану. Казалось, все прохожие смотрят на него и осуждают его за то, что он из тех, кто пользуется продажной любовью. А Дан и не собирался этого делать. Был он для таких затей просто брезгливым, да и тратить нелегко заработанные деньги на это считал унижительным для мужчины. Взял бумажку машинально, потому что негр сунул в ладонь.

Пройдя блок, он, отвернувшись к стене, развернул бумажку. На ней были

нарисованы сочные женские губы. Дразняще полуоткрытые. И стояла цена. 10 долларов. Немного. Даже ему по карману. Тем более что он собирался сходить в кино и раздумал. Значит, четыре доллара сэкономил. Остается лишь добавить шесть.

Дан рассмеялся. Никуда он, конечно, не пойдет, а вот сейчас найдет урну для мусора и выбросит розовый листок. Он глазами поискал урну. Прохожие разворачивали над головами зонты. Дождевые капли стукнули Дана по носу, побежали по шее за воротник.

У него не было зонта, и он ускорил шаг. Свернул за угол, увидел, что люди прячутся под большой навес над входом в здание, и протиснулся между ними. Дождь с шумом забарабанил над головой.

На дверях подъезда были наклеены такие же розовые листки, какой он сжимал в кулаке, с женскими полуоткрытыми губами, и предлагалось подняться на второй этаж и нажать кнопку звонка. Только и всего.

Дождь заладил надолго, и автомобили, шмыгая мимо, поднимали фонтаны брызг, обдавая укрывшихся под навесом. Дан толкнул дверь и, не оглядываясь, пошел по лестнице, перешагивая через две ступени. Вот и дверь с наклеенными розовыми листочками. Он быстро, словно за ним гнались, нажал кнопку звонка. Загудел зуммер изнутри, и дверь медленно открылась. Дан прошел и услышал за спиной звук захлопнувшейся двери. Первое ощущение было, что он попал в западню. В длинном узком коридоре он увидел окошечко кассы, немолодую женщину в нем, мирно вязавшую спицами что-то из шерсти.

— Десять долларов, — отложив вязанье, сказала она.

Дан порылся в карманах и отсчитал десять долларов. Она взяла деньги и положила перед ним картонный билет, размером с автобусный, добавив ломтик жевательной резинки.

— А это зачем? — удивился Дан.

— Подарок фирмы, — усмехнулась она.. — Не хотите жевать — оставьте.

Дан взял билет и жевательную резинку и двинул дальше по коридору, куда кассирша указала ему кивком головы.

Коридор перешел в тесный холл, и тут Дан увидел девиц. Их было пять. Они сидели на скамье, полуодетые, в купальных костюмах, густо и вульгарно покрашенные. Две негритянки с длинными худыми ногами и большими грудями, жирная, с рыхлыми бедрами немолодая пуэрториканка и две белые. Напротив них на скамье сидели двое мужчин, должно быть, клиенты, такие же, как Дан. Немного скованные, с зажатыми в пальцах билетами. Они искоса поглядывали на девиц, а те вообще не обращали на них внимания.

Негритянки курили сигары и о чем-то разговаривали вполголоса, пуэрториканка пила кока-колу из банки. Одна белая читала книгу в мягком переплете.

Дан нерешительно присел на скамью возле мужчин, и тотчас же его сосед, пожилой, неопрятно одетый негр, встал и подошел к пуэрториканке, протянув ей билет. Даже не взглянув на него, она взяла билет, поставила на скамью недопитую банку кока-колы и пошла вперед, вихляя широкими бедрами. Негр поспешил за ней.

Скользя робким взглядом по оставшимся проституткам, чтоб выбрать, кому

вручить билет, Дан задержался на той, что читала книгу. Она была молода, немногим более двадцати, и в ней уже намечалась склонность к полноте. Груды распирала купальник, а на боках заметна жировая складка. Лицо круглое, с маленьким носиком и пухлыми детскими губами. Волосы темные, кудрявые, до обнаженных плеч.

И вдруг его глаза словно укололись обо что-то. С ее шеи свисал на тонкой цепочке и прятался между холмиков груди серебряный Маген-Давид, шестиконечная звезда Давида. Она была еврейкой.

Даже не успев осмыслить, зачем она ему, Дан торопливо, чтоб его не опередили, подошел к ней и протянул билет. Она оторвалась от книги, взглянула снизу ему в лицо, кивнула и, заложив книгу закладкой, сунула ее в сумочку и повела Дана за собой. Туда же, куда пуэртиканка увела негра.

По обеим сторонам коридора располагались крохотные кабинки, с фанерными стенками, не дотягивавшими до потолка, и поэтому каждый звук был явственно слышен. В кабинках проститутки принимали клиентов, и оттуда доносилось мужское сопение, плеск воды, приглушенный говор.

Дан вошел вслед за своей избранницей, покачивавшейся на высоких каблуках, в ее кабинку. Там помещался матрас, положенный на кирпичи, стул, ведро и пластмассовый тазик на полу. На стенке была прибита крохотная полка, уставленная парфюмерными банками, флаконами, прижатыми большим рулоном бумажных полотенец.

— Разденьтесь, — сказала она, не взглянув на него, и Дан уловил крепкий ивритский акцент.

Она вышла, прикрыв дверь, и вернулась с ведром воды, когда он сидел на матрасе голым. На шее у Дана на тонкой цепочке висел такой же, как у нее, Маген-Давид, только не белый, серебряный, а желтый, золотой.

Она скользнула по нему ленивым взглядом и глянула ниже живота:

— Вы... откуда?

— Оттуда же, откуда и вы, — ответил Дан.

— Я из Тель-Авива.

— Я тоже. Рамат-Ган.

— Сюда насовсем?

— Не знаю.

На большее у нее не хватило любопытства.

Она поднесла к его коленям тазик с теплой водой, деловито помыла ему член и вытерла бумажным полотенцем. Потом опустила купальник, вывалив две крепких круглых груди, и сняла его с одной ноги, оставив висеть на другой. Дану она велела лечь на спину и, присев рядом, спросила:

— Как будем? В рот? Или туда? Дан, помедлив, сказал:

— В рот.

Она взяла его член рукой, подавила и прищурила глаза, стала рассматривать головку, не выйдет ли наружу гнойный симптом венерической болезни.

«Ого, — подумал Дан, — она еще, оказывается, близорука. Должно быть, стесняется носить очки».

Удовлетворенная осмотром, она глянула ему в лицо:

Только предупреждаю. Глотать не буду. Сегодня я пощусь.

Дан чуть не рассмеялся.

— Зачем же ты вообще вышла... на работу в такой день? Раз для тебя это важно... поститься?

— График составлен заранее. А в Бога я не верую, соблюдаю только традицию...

Она сделала глубокий вдох и чихнула, забрызгав Дану живот.

— Слушай, — приподнялся Дан, — мне уже ничего не хочется.

— Извиняюсь. Простудилась вчера. Нос заложило. Вы уже жалеете, что меня выбрали?..

— Ну, на что это похоже? — сказал Дан беззлобно. — Какая же ты проститутка? Обыкновенный еврейский шлимазл... чихает клиенту на живот.

— Ну, вы же свой человек? — улыбнулась она.

— Значит, меня можно так обслуживать?

— Знаете что, — сказала она, — я сейчас все устрою. Передам ваш билет одной черной девице, она вам все сделает. А мое время уже кончается. Мне собираться пора. Вы согласны?

— А сколько тебе платят?

— За каждый билет пять долларов.

— Значит, ты потеряешь пять долларов?

— Для своего человека не жалко, — и улыбнулась ему снова просто и по-дружески.

— Ладно, — согласился Дан. — Веди черную. А потом ты куда пойдешь?

— Может быть, к подруге...

— В кино не хочешь?

— Можно и в кино.

— Тогда жди на улице.

Негритянка быстро управилась, сделав все, что положено, и снова помыла Дану член, подставив тот же тазик с остывшей водой.

Когда он вышел на улицу, дождь уже кончился, но ручьи еще бежали вдоль тротуаров. Она стояла в плаще, с черным зонтиком под мышкой и улыбалась ему. Дан взял ее под руку, и они пошли на Пятую авеню.

— Меня зовут Тамар, — представилась она. Дан тоже назвал себя.

— Шрам на ноге, это у тебя с войны? Мой брат был парашютистом... А ты?

— В танке.

— В танке — это плохо, — вздохнула она. — Горят заживо.

— Иногда, — согласился Дан. — Кто у тебя там остался?

— Мама и два брата. Я пишу маме, что учусь и работаю... посылаю ей доллары... и она рада за меня... Если б знала... Ты меня не презираешь?

— За что?

— Ну, что я этим занимаюсь...

— А разве дома у нас мало проституток?

— Но сегодня такой день, — вздохнула она. — Мама постится... И братья... Весь Израиль... Ни одной машины на улице... А здесь...

Они свернули на параллельную Мэдисон-авеню и придержали шаг у большой синагоги, из открытых дверей которой доносилось знакомое пение кантора — щемящий душу еврейский плач в Судный день. На их родном языке-иврите. И от этого повеяло домом.

— Зайдем, — показал глазами Дан. Она кивнула.

Они поднялись по ступеням в обширный зал с люстрами. На скамьях сидели с молитвенниками в руках нарядные американские евреи: мужчины и женщины. Здесь была реформистская синагога. Дан взял со скамьи черную ермолку и надел на макушку. Они стояли у колонны, в проходе.

Кантор пел хорошо. Со слезой. Выговаривая слова на иврите с легким американским акцентом. От этого на них повеяло чужбиной, и они оба остро почувствовали, как далеко они от дома. Во всей синагоге только для них двоих иврит был родным, а не наспех заученным языком.

Но кантор пел все-таки хорошо. С настоящей слезой в голосе. И слезы потекли сначала по румяным щекам Тамар, а потом появились и у Дана.

В Судный день надо плакать.

ОЧКИ

Когда, не без доли хвастовства, я сказал одному моему знакомому доктору из Тель-Авива, который и сам, и его жена, и его пятеро детей — все поголовно носили очки и расставались с ними лишь когда ложились спать, что, мол, вот я в свои почти пятьдесят лет ни разу не утруждал свою переносицу роговой оправой очков и представления не имею, как выглядит мир через выпукло-вогнутые стекла, тель-авивский доктор посмотрел на меня с грустью и прискорбием.

— Это все от гремучего невежества, — кротко сказал он. — После сорока лет всем нужны очки. Хотя бы для чтения.

И сунул мне в руки книгу с нормальным, не очень мелким шрифтом, предложив почитать вслух в присутствии всей его очкастой семьи.

Я раскрыл книгу где-то посередине, вытянул руку на всю длину и устремил свой взор, как музыкант в ноты, расставленные на пюпитре.

Докторова семейка, сверкая стеклами очков, дружно прыснула со смеху, заглушив мою попытку прочесть вслух первую фразу.

— Вот видите, — сказал доктор. — Вы держите книгу, как кокетка зеркальце. Через годик-другой вам не будет хватать и длины руки, чтоб что-нибудь увидеть в книге. Дальnozоркость, дорогой мой. Идите и смело заказывайте очки.

И даже порекомендовал мне магазин в Иерусалиме, где можно заказать очки совсем недорого и с полной гарантией, что хоть что-нибудь я с их помощью увижу. В этот магазин я отправился не один, а с женой. Она не намного моложе меня и, конечно, держит книгу за версту от глаз.

Очковый магазин с фамилией владелицы мадам Вильнер на вывеске мы нашли именно там, где он был обозначен в записке тель-авивского доктора, на углу улицы Шамай. Там, где сбились в кучу все кинотеатры Иерусалима и вечером протолкаться живому человеку абсолютно невозможно.

Мы пришли туда утром. Потому что мы не туристы из Америки и знаем, куда и когда можно ходить в славном городе Иерусалиме. Например, площадь Сиона мы вообще стараемся обходить. Террористы рвут бомбы только там и нигде больше. Возможно, из-за названия. Площадь Сиона. Они очень не любят это слово. Сион. Сионизм.

Один чудак, я об этом своими глазами, правда еще до очков, в газете читал, умудрился дважды подорваться на площади Сиона. Первый раз, когда взорвался холодильник, полный динамита. Этого малого хоть и не убило, но довольно крепко трахнуло. В госпитале он провалялся полгода. А когда выписался, в первую очередь пошел прогуляться вы думаете куда?.. На площадь Сиона. За все полгода, пока он отлеживался в госпитале, там ни одного взрыва не было, но стоило ему ступить на ту самую площадь, как тут же взорвался заряд, побольше первого, и наш чудак с новыми ранениями вернулся в госпиталь, откуда отлучился всего на час.

Улица Шамай — это не площадь Сиона, хотя оттуда рукой подать. Мадам Вильнер, седенькая аккуратная старушка в очках с такими толстыми линзами, что ее глаз разглядеть невозможно, приняла у нас заказ, терпеливо и вежливо ждала, пока моя жена из сотни выбрала себе очень игривую оправу, и велела прийти послезавтра за очками. Деньги попросила вперед.

— Знаете, — сказала она, оправдываясь, — мы живем в таком городе и в такое время, что не знаешь, что будет завтра.

Мы ушли с квитанциями в кармане, и нам в спину мигали тысячи пар очков в самых невероятных оправках, аккуратно и со вкусом разложенных в зеркальных витринах магазина мадам Вильнер.

Назавтра утром я совсем по другим делам оказался неподалеку от улицы Шамай и услышал такой взрыв, что чуть не оглох, и у меня уши до сих пор будто ватой заложены. Я побежал вместе с толпой к месту происшествия, с треском скользя по осколкам стекол из выбитых окон. Догорал автомобиль, где была заложена взрывчатка, на тротуарах ползали раненые. Один из них щупал окровавленными пальцами осколки оконных стекол и вопрошал:

— Где мои очки?

И тогда у меня екнуло сердце. Я вспомнил магазин мадам Вильнер. Магазин, как пишут в газетах, оказался в самом эпицентре взрыва. Его разнесло так, что от витрин остались груды стекла, обгорелые доски и еще какой-то хлам. Даже вывеска с именем владелицы валялась разбитая на противоположном тротуаре.

На следующий день моя жена собралась за очками. Я объяснил ей, что произошло на улице Шамай вчера, но моя жена сразила меня своей логикой:

— Если мадам Вильнер жива и не в госпитале, то мы по нашим квитанциям хоть получим обратно деньги.

На улице Шамай уже убрали обломки, и очень довольные подвалившей работой стекольщики, как ласточки, суетились в пустых оконных рамах на всех этажах. Витрины магазина мадам Вильнер были закрыты фанерными щитами, но двери были распахнуты, и на пороге стояла она сама, глядя на божий свет через толстые линзы своих очков.

Она взяла у нас квитанции и сказала: — Очки готовы. Можете их получить.

Исчезла в обугленном нутре магазина и вынесла нам две пары очков, тех самых, что мы заказали, и даже не забыла вручить нам кожаные сумочки для хранения очков: черную, строгую для меня и красную, кокетливую — для жены.

Заходите, если обнаружите дефект, — улыбнулась она нам вслед. — Наша фирма работает с гарантией.

ЖЕНЩИНЫ ИЗ ЦФАТА

Что остается в памяти после войны? Не знаю, у кого что, а мне после войны Судного дня помнится лишь жуткий непрекращающийся шум. День и ночь. И никакой паузы, никакой передышки.

Поверьте мне, на фронте было слишком шумно не потому, что дело происходило в Израиле, а евреи, как известно, не из тех, кто разговаривает очень тихо. Это было бы полбеды и даже четверть беды.

Страшный шум, от которого было впору с ума сойти, происходил от того, что бои на Голанских высотах велись на участке шириной в несколько десятков километров, а огневых средств, и притом самых мощных калибров, понатыкали в этой тесноте так много, что их бы хватило на целый фронт в Европе во время второй мировой войны.

Четыре тысячи танков грохотали и скребли друг друга железными боками на этом пяточке и палили из всех отверстий, пока не вспыхивали факелом и экипажи не сгорали заживо. А если к этому добавить ракетные установки, минометы, которые, как известно, тоже не имеют глушителей звука, и сотни дальнобойных орудий главного калибра, то даже ребенку станет ясно, что вздремнуть хотя бы часок в этом аду солдату с самыми крепкими нервами не удавалось.

Где уж тут уснуть, когда рядом бухают тяжелые орудия, и не поодиночке, а по три-четыре вместе, залпом, и от каждого такого выстрела из ушей начинает сочиться кровь. Потому что воздух детонирует с такой силой, что барабанные перепонки не выдерживают. Вся артиллерийская прислуга и все, кто находятся поблизости от

орудия, при выстреле затыкают пальцами уши и широко раскрывают рты, чтоб уравновесить давление воздуха на барабанные перепонки.

Но это помогает как мертвому припарки. И кровь течет из ушей по пальцам. И все мы, что живы остались, после войны смущали собеседников, по несколько раз переспрашивая каждую сказанную ими фразу. Поэтому над нами часто смеялись. И мы тоже смеялись. Потому что лучше быть живым и немножко глуховатым и смеяться сколько душе угодно, чем сохранить слух, но сложить голову и, естественно, не иметь возможности ни разу рассмеяться.

Одним словом, проходили дни и ночи на Голанских высотах, и от постоянного шума мы ни разу не поспали и совершенно очумели.

Поэтому, когда нашему подразделению был отдан приказ передислоцироваться с Голанских высот на Синайский фронт, мы взвыли от радости. Наконец-то поспим. В пути. Пока с севера на юг пересечем весь Израиль и всю синайскую пустыню до Суэцкого канала. Это добрых семь-восемь часов дороги в абсолютной тишине, мягко покачиваясь на рессорах. Можно сойти с ума от одного лишь предвкушения.

К нам подогнали пассажирские автобусы и стали быстро грузить. Я попал в автобус из Иерусалима. На нем еще оставался номер прежнего довоенного маршрута. Девятый! Господи! Сколько я на нем ездил. Девятка идет мимо моего дома от горы Скопус до улицы Кинг Джордж. Когда я сел и погрузился в мягкое сиденье, я почувствовал, что в нем еще не остыло тепло от моего тела с тех мирных времен.

Мы влезли в автобус с личным оружием и боеприпасами, сбросили на пол каски, как по команде откинули на спинки сидений головы с небритыми заросшими лицами и уснули, словно в обморок упали.

Не знаю, сколько мы спали, мне показалось, что лишь одну минуту, как всех нас вырвал из глубин сна многоголосый женский крик. Поначалу мы ничего не могли разобрать. Автобус стоял в каком-то городе, окруженный толпой женщин. Потом оказалось, это город Цфат, в Галилее, в часе езды от наших прежних позиций. Цфат — город религиозных евреев. Здесь всегда тихо и дремотно, как в синагоге.

На сей раз нас разбудил шум посильнее того, от которого мы избавились на Голанских высотах. Разговаривали одновременно и не сдерживая голоса сразу сто еврейских женщин из Цфата. Не только нас, они могли бы и мертвого разбудить.

Очень недовольные, даже злые, мы высунулись из окон автобуса.

— Чего вам надо? Дайте людям поспать.

— Нам ничего не надо, — загалдели они. — Дайте нам телефоны ваших жен и матерей, и мы позвоним им сегодня же, что видели вас живыми и здоровыми. Только и всего.

И мы перестали ворчать. Записали на обрывках бумаги номера своих домашних телефонов, передали в окно и уехали из Цфата, снова провалившись в сон, как в обморок. А из древнего города Цфата во все уголки Израиля пошли сотни междугородных звонков, за которые, между прочим, надо платить деньги, и немалые.

Моя жена уже после войны как-то вспомнила, что ей позвонил женский голос из города Цфата и с непонятым восторгом сообщил, что только что я был в Цфате, где меня видела эта женщина, и что я выглядел очень хорошо, прямо как картинка. Это я-

то, не спавший неделю, небритый и немывтый, похожий на черта.

Я, как мог, объяснил моей жене, что произошло с нами в Цфате и каким образом мой телефон очутился у этой женщины.

Моя жена вообще не очень склонна мне верить, и на этот раз в ее голосе я ощутил сомнение, когда она спросила:

— Она хоть молодая, эта женщина из Цфата?

МОЛИТВА

В самый разгар войны с немцами Сталин дал приказ прочесать все уголки России и найти литовцев, чтоб создать национальную Литовскую дивизию. Как ни старались военкоматы, кроме литовских евреев, бежавших от Гитлера, ничего не смогли набрать. Пришлось довольствоваться этим материалом. Литовских евреев извлекали отовсюду: из Ташкента и Ашхабада, из Новосибирска и Читы, отрывали от причитающих жен и детей, гнали в товарных поездах к покрытой толстым льдом реке Волге.

Здесь, в грязном и нищем русском городке, до крыш заваленном снегом, их повели с вокзала в расположение дивизии штатской толпой, укутанной в разноцветное тряпье, в непривычных для этих мест фетровых шляпах и беретах. Они шагали по середине улицы, как арестанты, и толпа глазела с тротуаров, принимая их за пойманных шпионов.

— Гля, братцы, фрицы! — дивился народ на тротуарах.

Впереди этой блеющей на непонятном языке колонны шел старшина Степан Качура и, не сбиваясь с ноги, терпеливо объяснял местному населению:

То не фрицы, а евреи. Заграничные, с Литвы. Погуляли в Ташкенте? Годи! Самый раз кровь пролить за власть трудящихся.

Старшина Качура выстроил перед командиром полка новое пополнение. Евреи стояли на морозе, переминаясь в легкой изношенной обуви, одетые, как на карнавале, в шубы с лисьими дамскими воротниками, в плащи-дождевики и даже в крестьянские домотканые армяки. Шеи были замотаны шарфами всех цветов и размеров. Шарфы натянуты на носы и покрыты седым инеем от дыхания.

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — гаркнул командир полка.

Вместо положенного громкого приветствия евреи простужено закашляли, окутавшись облачками пара.

Старшина Качура, видя беспорядок, уставился на начальство, готовый немедленно принять меры. Но командир полка движением руки отказался от его услуг:

Новенькие. Не знают порядка. Научим! А сейчас... Строй, слушай мою команду! Кто парикмахер, — он с наслаждением помедлил, — три шага вперед!

Разноцветная, застывшая на морозе шеренга колыхнулась, выталкивая в разных концах замотанные фигурки. Примерно половина строя вышла вперед. Остальные топтались на прежнем месте.

Подполковник Штанько раскрыл рот, что означало высшую степень удивления.

Столько парикмахеров? Га? А остальные кто? — Остальные, товарищ подполковник, — взял под козырек старшина Качура, — по-нашему, по-русски, не понимают.

Когда евреев больше обычного тянет беседовать с Богом? В канун субботы, в пятницу вечером. Старший политрук отлично знал это, потому что происходил из религиозной семьи и вплоть до вступления в коммунистическую партию исправно посещал синагогу.

Именно поэтому в пятницу вечером во всех подразделениях проводились политбеседы, и агитаторы из штаба полка заводили нудный разговор о вреде религии — опиума для народа как раз тогда, когда на небе загоралась первая звезда и во всем мире евреи зажигали субботние свечи.

Бывшего шамеса Шлэйме Гаха сам Бог избавил от такого кощунства. Не сидеть на такой беседе он не имел права, но зато он не слышал богохульных слов, потому что был глух. Он закрывал глаза, и ему становилось совсем хорошо. Можно было молиться в уме. Но Боже упаси шевелить при этом губами. Да еще покачиваться всем телом. Политрук Кац поймал его однажды за этим занятием, и рядовой Гах схлопотал пять нарядов вне очереди.

Минометная рота занимала высотку, глубоко окопавшись и построив прочные блиндажи. В тыл, к штабу полка, вел извилистый ход сообщения в человеческий рост, и по этому ходу в пятницу вечером, как раввин на субботнюю молитву, отправлялся на позицию старший политрук Кац, что доставляло жестокие страдания шамесу. Не приносили особой радости эти визиты и другим евреям.

Командир роты лейтенант Брехес был коммунистом и не видел разницы между субботой и воскресеньем. И вообще ему было не до Бога, потому что у него обострилась довоенная язва желудка. Но человек он был мягкий и к своим подчиненным относился не по-казенному. Поэтому никто не удивился, когда в пятницу после обеда он сказал, как бы между прочим, что старшего политрука Каца вызвали в дивизию и, возможно, политбеседа нынче не состоится. У шамеса Гаха заблестели глаза. Удивительнее всего, что лейтенант Брехес говорил не так уж громко, а шамес расслышал каждое слово. Бывает.

Евреи оживились. Стали шептаться, таинственно оглядываясь. От одного к другому ходил, как маятник, шамес Гах, очень возбужденный, но разговаривал на удивление тихо. Хотя, как известно, глухие разговаривают слишком громко, чем и славился шамес до этого случая.

Одним словом, евреи собирали миньян — десять человек, необходимых для молитвы, и готовились всласть отвести душу в канун субботы.

На немецкой стороне было тихо. За весь вечер раздалось два-три выстрела, и все. В тылу, в штабе, тоже не заметно было особого движения. По всем признакам канун субботы обещал быть спокойным.

С приближением вечера шамес занервничал. Не собирался миньян. Девять евреев, не забывших, что пятница — это пятница, он нашел. Не хватало десятого. Без десятого все шло насмарку, и молитва срывалась.

Лейтенант Брехес спросил шамеса, чем он так озабочен, и когда тот объяснил, в чем дело, даже рассмеялся и сказал, что это все формальности и если им так уж нужен

десятый, то он, лейтенант Брехес, может посидеть за компанию. Правда, если это не надолго. Потому что он роту не может оставить без присмотра. Шамес просиял и попросил командира роты явиться на молитву с покрытой головой. Можно в пилотке. Или в каске.

Близились летние сумерки, и весь миньян собрался в блиндаже, в касках и с личным оружием. На этом настоял лейтенант Брехес на случай огневого налета противника. На ящик из-под мин поставили две свечи: две латунных стреляных гильзы от снарядов 45-миллиметровой противотанковой пушки. В Гильзы налили керосин, сплющили концы, откуда торчали фитили из брезентового солдатского ремня. Такие светильники на фронте назывались «катюшами». В этот вечер «катюши» должны были послужить евреям субботними свечами.

— Где — тут восток? — вдруг забеспокоился шамес. — Мы должны повернуться лицом к Иерусалиму.

— Хорошенькое дело, — сказал Моня Цацкес. — Из-под русского города Орла увидеть Иерусалим.

— Слушайте, евреи, нет таких крепостей, которых бы не могли взять большевики, — пошутил лейтенант Брехес, который был здесь единственным коммунистом.

Он снял с руки свой компас, положил на ящик, прищурился на мечущуюся стрелку и сказал:

— Вон там — юг, а Иерусалим к юго-западу от нас... Как раз там, где вход в блиндаж. Значит, можно стать лицом сюда, и вы не промахнетесь.

Там — Иерусалим? — посмотрел в проем хода шамес Гах, и глаза его увлажнились. — Подумать только, там — Иерусалим...

Евреи стали в тесноте перестраиваться лицом к Иерусалиму, и со стороны можно было подумать, что они готовятся к выходу на боевое задание.

— Время! — зловеще шептал шамес Гах, хлопотавший возле свечей. — Кто следит за небом? Не упустите появление первой звезды.

Моня Цацкес не мог удержаться и не вставить свой совет:

Только не перепутайте, чтоб не вышло греха: не примите сигнальную ракету за первую звезду.

Шамес неодобрительно посмотрел на него, и Моня заткнулся.

— Ну, есть звезда? — нетерпеливо спросил шамес.

— Звезды еще нет, — ответил голос снаружи, — но бежит к нам Иван Будрайтис.

— Что тут нужно этому тою Будрайтису? — возмутился шамес.

— Должно быть, ко мне, — сказал командир роты, — я его оставил у телефона.

— Ребята! — влетел в блиндаж скуластый Иван Будрайтис. — Кончай базар! Товарищ политрук Кац звонили, они идут к нам проводить политбеседу.

Иван Будрайтис выпалил это и сам был не рад — так он испортил всем настроение.

— Надо расходиться... — вздохнул лейтенант Брехес. — Может быть, в другой

раз...

— И ничего нельзя придумать? — с тоской взглянул на него шамес.

Остальные евреи тоже выжидающе смотрели.

— А что я могу придумать?

— Я придумал, — сказал Моня Цацкес, и все головы как по команде повернулись к нему. — Старший политрук Кац не самый храбрый человек в Литовской дивизии. Верно?

Евреи нетерпеливо кивнули, а Иван Будрайтис сказал:

— Это уж точно.

— Значит, — продолжал Цацкес, — если немцы сейчас откроют сильный артиллерийско-мино-метный огонь, то старший политрук Кац, уверяю вас, и носа не высунет из своего укрытия при штабе полка.

— Хорошенькое дело! — всплеснул руками шамес. — Цацкес, вы, должно быть, родились недоношенным. Кто же это немцам передаст, что евреи просят их об одолжении: открыть огонь? Не вы ли?

— Могу и я, но только, рэбе, я приму на себя грех — поработаю в субботу, что еврейским законом возбраняется... Хотя стойте! У нас же есть шабес-гой! Иван Будрайтис. Для него это не грех. Ваня, ты можешь сделать одолжение своим однополчанам?

— Смотря какое... — осклабился Будрайтис.

— Пустяк. Возьмешь мину и опустишь ее в миномет. Немцам не понравится, что их потревожили перед ужином. И они ответят. Так, что чертям станет тошно. Тем более старшему политруку Кацу. Можете не волноваться — его здесь не будет.

Никто ничего не сказал. Все думали. И на лицах у всех появилась хитрая ухмылка. Мониная идея явно нравилась миньяну.

— Я — что? — сказал Иван Будрайтис. — Мне — раз плюнуть.

Так за чем остановка? — нетерпеливо спросил шамес.

— А вот как товарищ командир роты скажут, — показал глазами на лейтенанта Брехеса Иван Будрайтис, — так и будет.

Теперь все смотрели на Брехеса.

— Добро, — сдался лейтенант. — Но не больше одного выстрела. Боеприпасов мало.

— Будет сделано! — козырнул Иван Будрайтис. — А вам, товарищи, счастливо помолиться.

И исчез в быстро сгущавшихся сумерках.

Как там? — нервничал шамес. — Звезды еще нет?

Вместо ответа хлопнул минометный выстрел. И взрыв донесся с немецкой стороны. Это сработал шабес-гой Иван Будрайтис.

Немцы с минуту недоумевали, чего это русские их побеспокоили без видимой

причины, затем грянули залпом из восьми минометов. Вслед ударила артиллерия.

Грохот прокатился по всей высоте. Взрывы распустили пыльные бутоны от вершины до подножия и дальше, в расположении штаба полка.

— Звезда! Звезда! — этот крик прорвался сквозь адский шум огневого налета.

Шамес трясущимися руками зажег спичкой обе «катюши», коптящее пламя колыхалось при каждом разрыве.

Шамес воздел руки над свечами, сощурил глаза, потому что сверху на него сыпался песок, и на древнем языке — лошен койдеш — провозгласил молитву, стараясь перекрыть грохот над головой.

Барух ата адонай... элохейну мелех хаолам, ашер кидшану бемицвотав ве цивану лэаддик нер шел шабат...

И весь миньян, за исключением лейтенанта Брехеса, вдохновенно подхватил, повторяя за шамесом начало субботней молитвы:

Благословен Ты, Превечный, Боже наш, Царь вселенной, который освятил нас законами Своими и заповедал нам зажигать субботние свечи.

Сотрясалась земля. Трещали бревна перекрытия над головами. Со стен струился песок. Едкий дым из хода сообщения вползал в блиндаж. В девять глоток, при одном воздержавшемся, неистово молились евреи Богу на древнем языке своих предков в летний пятничный вечер 1943 года на русской равнине, отмеченной на военных картах как Орловско-Курская дуга.

— Барух ата адонай... элохейну мелех хаолам, ашер кидшану...